

Исаак Фильштинский

**МЫ ШАГАЕМ
ПОД КОЛЕСОМ**



ИСААК ФИЛЬШТИНСКИЙ

МЫ ШАГАЕМ ПОД КОНВОЕМ

Рассказы из лагерной жизни

=

-

-

-

-

Москва
«Возвращение»
1994

Художник
А.ЯРКИНА

Фильштинский И. М.
Мы шагаем под конвоем. Рассказы из лагерной жизни.—
М. «Возвращение», 1994, 192 с.

ISBN 5—7157—0046—9

© Возвращение, 1994

ОБ АВТОРЕ

Среди лагерных свидетельств И. М. Фильштинского одно касается лагерной почты, связи с волей. Вся переписка зека проходила через лагерного цензора, обязанности которого, как пишет Фильштинский, исполняли члены семьи надзорсостава. К своим обязанностям они относились крайне нерадиво, и часть писем по их вине вообще пропадала... «Однако все мы, работавшие на лесопильном заводе, фактически могли отправлять столько писем, сколько хотели. Делалось это, разумеется, нелегально. Во время погрузки пиловочника предназначенные к отправке письма перевязывались и весь пакет аккуратно укладывался в укромном месте между досками. После погрузки вагоны проверялись надзором, но, разумеется, пролезть во все щели между уложенным пиломатериалом надзиратели не могли. Важно было хорошо знать, куда отправлялся тот или иной вагон, что мне как бракеру было, конечно, известно. Рабочие, разгружавшие вагоны в местах назначения и обнаруживавшие наши письма, опускали их в почтовый ящик. К чести рабочего народа надо отметить, что за все годы моей работы на лесозаводе был только один случай, когда письма были переданы «куда надо», в результате чего было проведено особое следствие и большая группа заключенных была на длительный срок лишена права переписки. Но этот прокол был связан с тем, что бригадир, не разобравшись, сунул нашу почту в вагон, предназначенный какому-то почтовому ящику МВД. Чаше всего мы отправляли письма с вагонами, которые шли на автомобильный завод им. Сталина (ныне ЗИЛ). Один раз грузчики даже написали на досках углем слова благодарности рабочим завода».

Что воля ощущала себя с зоной заодно — это редкое свидетельство. Шаламов сказал — и это был один из его главных и последних выводов, — что лагерь мироподобен. Когда Фильштинский писал свои рассказы, он не мог знать о шаламовском определении, потому что в широкий оборот оно тогда еще не поступило. К этой мысли Фильштинский пришел самостоятельно, и здесь, пожалуй, та внутренняя точка обзора, с которой он смотрит на лагерь и воспринимает его. Лагерь для Фильштинского — мир судеб. Тайные и яв-

ные взаимодействия судеб в этом мире, где режим скрутил личность и стихии человеческой природы сквозь режим не прорваться, заволаживают его — прорывы он видит, они для него явление свободы.

«Судьба ко мне была милостива, — пишет Фильштинский с известной долей благодушия. — Я не попал ни в Колымские лагеря, ни на страшную 501-ю стройку железной дороги Воркута — Комсомольск-на-Амуре, с которой, как правило, никто не возвращался. Но в нашем лагере была одна тонкость — он был режимным для всей северной зоны лагерей, сюда свозили за преступления (убийства, грабеж, поджоги и т.п.), совершенные уже в лагерях, и, следовательно, здесь был соответствующий человеческий материал.

Заклученные в моем лагере мало чем отличались от людей, живших в то время на воле. В нем были представлены все социальные и национальные группы общества, все профессии, люди в нем сидели за все виды преступлений, действительных или мнимых, перечисленных в уголовном кодексе того времени, виноватые, а чаще невинные».

Другая запись — в развитие мысли.

«Старые лагерники — народ отпетый, продадут и предадут не за понюшку табака, — поучал меня еще в Лефортовской тюрьме зека-повторник, — праведники среди них — птицы редкие, лагерь не делает человека лучше, наоборот, развивает эгоизм и цинизм».

Подобное мнение представляется мне не вполне справедливым, — тихо полемизирует Фильштинский. — Влияние лагерной жизни на человека не столь однозначно. По моим наблюдениям, она его не портит и не улучшает, но беспощадно выявляет заложенные в нем еще на воле задатки. Экстремальные ситуации обнажают его сущность, измеряют его масштаб».

В беспощадности выявления сути — острая драматургия рассказов Фильштинского. Раскрыт натуры, выброшены спрессованных в ней задатков, заложенных далекими генами, деформированных режимом или, напротив, отточенных, выпестованных, взлелеянных сопротивлением ему, — отсюда динамика рассказов Фильштинского и одновременно печальный энциклопедизм обзора, в широте которого повествователю, кажется, меньше всего интересен он сам. О себе он сообщает лишь самые беглые сведения. Лишь в самом конце, когда он уже на воле и едет в Москву, мы узнаем, что он

востоковед и кандидат наук. Он не сообщает даже, а вспоминает, спохватывается, кажется... Он умалчивает о собственных страданиях и бедах — лишь делает оговорку, что его лагерный опыт не был ни самым страшным, ни самым долгим. В этом самозабвении не только знак культуры, но и объяснение тому историзму, с каким он видит людей, живые корни их социального и национального происхождения, утраченные в лагерный грунт. Оттого, что его привлекают натуры яркие, деятельные, часто бесстрашные, постепенно от рассказа к рассказу возникает картина тусклой гибели, погашения, иссушения человеческой талантливости. Кажется, что сами рассказы возникли у Фильштинского не из желания запечатлеть лагерный опыт, а как изумленное свидетельство невероятной повсеместной одаренности людей. Но... мы шагаем под конвоем.

Краткая библиография работ И. М. Фильштинского

И. М. Фильштинский. История арабской литературы (V — начало X века). М.: Наука, 1985, 524 с.

И. М. Фильштинский. История арабской литературы (X — XVIII веков). М.: Наука, 1991, 724 с.

И. М. Фильштинский. Арабская литература в средние века. Словесное искусство арабов в древности и раннем средневековье. М.: Наука, 1977, 290 с.

И. М. Фильштинский. Арабская литература в средние века. VIII — IX вв. М.: Наука, 1978, 285 с.

И. М. Фильштинский. Арабская классическая литература. М.: Наука, 1965, 310 с.

И. М. Фильштинский и Б. Я. Шидфар. Очерк арабомусульманской культуры. М.: Наука, 1971, 256 с.

Жизнь и подвиги Антары:

Средневековый народный роман. Перевод с арабского

И. М. Фильштинского и Б. Я. Шидфара. Вступ. статья

И. М. Фильштинского. М.: Наука, 1968, 454 с.

Жизнеописание Сайфа, сына царя Зу Язана:

Средневековый народный роман. Перевод с арабского

И. М. Фильштинского и Б. Я. Шидфара. Вступ. статья

И. М. Фильштинского. М.: Наука, 1975, 604 с.

Абу-ль-Аля аль-Маари. Стихотворения. Перевод с арабского А. А. Тарковского. Вступ. статья, примечания, подстрочный перевод И. М. Фильштинского. М.: Художественная литература, 1979, 183 с.

Из классической арабской поэзии. Перевод с арабского С.В.Ширвинского. Вступ. статья, примечания, подстроч-

ный перевод И.М.Фильштинского. М: Художественная литература, 1979, 317 с.

Ибн-Туфейль. Повесть о Хаййе ибн Якзане.

Перевод с арабского И. П. Кузмина. Вступ. статья, комментарий и научная подготовка текста И. М. Фильштинского. М.: Художественная литература, 1978, 149 с.

Абу ар-Рахман аль-Джабарти. Египет периода экспедиции Бонапарта (1798 — 1801). Перевод с арабского, предисловие, примечания И. М. Фильштинского. М.: Наука, 1985, 540 с.

Абу Али аль-Мухассин ад-Танухи. Занимательные истории и примечательные события из рассказов собеседников. Перевод с арабского, предисловие, примечания И. М. Фильштинского. М.: Наука, 1985, 311 с.

Арабская поэзия средних веков. Составление, предисловие, примечания И. М. Фильштинского. М.: Художественная литература. Серия «Библиотека всемирной литературы». Т. 20, 1975, 768 с.

Маджун. Стихи о Лейле. Перевод с арабского Е. Елисеева. Вступ. статья, подстрочный перевод, примечания И. М. Фильштинского. М.: Художественная литература, 1984, 158 с.

Тысяча и одна ночь. Избранные сказки.

Перевод с арабского М. А. Салье. Вступ. статья, примечания И. М. Фильштинского. М.: Художественная литература, 1983, 540 с.

Избранные сказки, рассказы и повести из «Тысячи и одной ночи». В 5 т. Составление, вступительные статьи, примечания И.М. Фильштинского. М.: Правда, 1986 — 1989. Т. I — 605 с. Т. II — 606 с. Т. III — 637 с. Т. IV — 636 с. Т. V — 588 с.

Исаак Моисеевич Фильштинский родился в 1918 году в Харькове. В 1941 году окончил отделение археологии исторического факультета ИФЛИ. Был призван в армию и направлен на военный факультет Института востоковедения (позднее — Военный институт иностранных языков). В 1949 году — он в это время преподавал в Военном институте — И. М. Фильштинский арестован и после следствия в тюрьмах на Лубянке и в Лефортове осужден Особым совещанием на десять лет по статье 58.10. Срок отбывал в Каргопольлаге в Архангельской области до пересмотра дела в 1955 году.

И. Борисова

*Жене и другу Анне Рапопорт
посвящается*

МОЙ ЛАГЕРЬ

О советских репрессиях и лагерях много пишут и говорят, горькую тему эту не легко исчерпать. Слишком густо вплетена она в общественную память, слишком неразрывно сплелась с историей нашего отечества. Однажды я оказался свидетелем своеобразного социологического эксперимента: в собравшейся в одном московском доме компании заговорили о прошлом, и выяснилось, что примерно из трех десятков человек восемь побывали в местах заключения, у семерых погиб кто-то из родителей, а у многих других близким родственникам довелось хлебнуть тюремной и лагерной похлебки. Из моих тридцати двух соклассников по средней школе в разное время было арестовано пятеро, причем двое из них погибли в лагере. В результате лагерная мораль, психология и лексика прочно вошли в быт всех слоев общества. Даже в детских садах дети учатся выражаться по-лагерному. Как-то я прогуливался с женой по университетскому парку на Ленинских горах, рядом, на стадионе, студенты играли в футбол, сопровождая чуть ли не каждый удар по мячу смачным лагерным сленгом, весьма странно звучащим на фоне величественного здания цитадели науки.

Лагерный срок заключенные проходили по-разному — одних непосильные испытания сломили, другие сумели их вынести, а третьи прошли свой путь сравнительно благополучно. Это зависело от многих причин: от статьи и срока, местонахождения, психофизических данных, наконец, от возраста. И все же судьбы зека во многом между собой схожи, почти подобны. Несмотря на это, как и во всякой

экстремальной ситуации, опыт каждого по-своему уникален.

Мне сравнительно повезло — я провел в тюрьмах и в лагере всего шесть лет, с 1949 по 1955 год. О своем лагерном опыте я не жалею: лагерь помог мне проверить свои возможности и избавил от многих заблуждений.

Я узнал, что булки на деревьях не растут и что очень многие из так называемых «всемирно-исторических достижений», о которых всю мою предшествующую жизнь бубнили институтские профессора, пресса, радио, кино и театр, часто результат нечеловеческого труда миллионов рабов-заключенных. Телами их вымощены и колымские золотые прииски, о которых писал В. Т. Шаламов, и Караганда, и Печора, и Инта, и Норильск, и Воркута и другие бесчисленные лагеря по всей стране.

Меня в лагерной жизни спасало два обстоятельства — сравнительно молодой возраст, и, как это ни покажется читателю этих строк странным, любопытство, интерес к жизни. В повести американского писателя Сэлинджера «Над пропастью во ржи» героя беспокоит судьба уток, плавающих летом в пруду, в холодное время года. Его мучает вопрос: «Куда деваются утки зимой?» На протяжении многих лет, еще в школе, когда арестовывали родителей моих соучеников, а потом и их самих, в московской коммунальной квартире, откуда в ночную пору увозили людей, о чем утром шепотом сообщала отцу мать, в институте, когда то и дело исчезали профессора и студенты, а на комсомольских собраниях прорабатывали и исключали детей «врагов народа», и я сам чудом избежал ареста, наконец, в армии, я все время задавал себе вопрос: куда же девались эти люди, так таинственно уходившие в небытие в ночную пору. В их виновность я никогда не верил и с детских лет прекрасно понимал ложь обвинений и неестественность так называемых признаний на публичных процессах, но не мог объяснить себе причину творившейся вокруг сатанинской жестокости.

Я знал одну даму, весьма нацеленную на карьеру, в доме у которой на всех семейных торжествах первый бокал поднимали за здоровье Сталина. Выходя с партийного собрания в весьма почтенном учреждении, на котором сотрудникам зачитали доклад Хрущева на XX съезде партии, она воскликнула: «Какой ужас!» — «А ты что, раньше обо всем этом не знала?» — с раздражением ответила ей коллега.

«Что-о-о,— заорала дама на весь служебный коридор,— а ты знала и молчала?» Она, как и всегда, оказалась права и чиста, а все вокруг виноваты. Разумеется, все она, как и многие другие, прекрасно знала, но страх, карьерные соображения, надежда, что их минует чаша сия, заставляли людей надевать на глаза черные очки и затыкать уши ватой, дабы отогнать крамольные мысли, которые, если иметь мужество додумать их до конца, должны были подвинуть порядочного человека на столь опасное противодействие злу.

Так вот, куда же деваются утки? Сидя на Лубянке и в знаменитой, недоброй памяти Лефортовской тюрьме, путешествуя в столыпинском вагоне и видя вокруг себя в лагере тысячи людей, я, наконец, узнавал судьбу своих предшественников, сам двинувшись по Дантову кругу.

Судьба оказалась ко мне милостива. Я не попал ни в Колымские лагеря, ни на страшную 501-ю стройку железной дороги, которая по чьему-то нелепому замыслу должна была пересечь всю северную часть Сибири. Лагерь, в котором я оказался, был рядовой, в нем отбывали срок от 20 до 30 тысяч человек. По нормам ГУЛАГа он был столь незначителен, что в предназначенном для служебного пользования справочнике вообще не значился. Он входил в систему ГУЛПа (подразделение ГУЛАГа — Главное управление лагерей лесной промышленности). На многочисленных отдельных лагерных пунктах — ОЛПах — заключенные валили лес, который подвозили с лесоповальных ОЛПов на лесопильный завод, выпускавший пиломатериалы для авиационной, автомобильной, вагоностроительной и других отраслей промышленности, а также шахтовку для угольных разработок, шпалы, мебель и вообще все, что делается из дерева. На этом лесопильном заводе я провел большую часть срока своего заключения. Но у нашего лагеря была одна особенность — в него свозили из других лагерей и колоний тех, кто совершил какое-либо внутрилагерное преступление (убийство, грабеж, поджог и т.п.). Поэтому через расположенную на нашем ОЛПе пересылку проходил специфический человеческий материал.

Но в основном заключенные в моем лагере мало чем отличались от людей, живших в то время на воле. В нем были представлены разнообразные социальные и национальные группы и профессии, в нем отбывали срок за все виды перечисленных в уголовном кодексе того времени преступ-

лений, действительных или мнимых. Люди были, как и на воле, хорошие и плохие, храбрые и малодушные, осторожные и отчаянные, образованные и полуграмотные. Своеобразие их состояло лишь в том, что, оказавшись в пограничной ситуации, они более отчетливо проявляли как хорошие, так и плохие стороны своей натуры. Все жили друг у друга на виду и представляли отличный предмет для наблюдения психолога и социолога. Здесь было над чем поразмыслить. В своих записках я не претендую на всестороннее описание лагерной жизни. Я лишь хочу на конкретных примерах, в живых картинах поделиться некоторыми наблюдениями — результатом моего личного опыта в том виде, в каком он утвердился в моей памяти, в надежде, что в своей совокупности рисуемые мною эпизоды и отдельные личные характеристики дадут читателю представление о рядовом, обычном, не слишком страшном и трудном, но отнюдь и не слишком легком, лагере моего времени.

ПРЕВРАЩЕНИЯ

Я познакомился с ней случайно. Сравнительно еще теплым осенним утром нашу бригаду вывели на работу, но не погнали сразу, как обычно, на лесопильный завод, а остановили перед вахтой женской зоны. В те годы кое-где в лагерях еще сохранялись порядки военного и послевоенного времени, и запрет на всяческие контакты заключенных мужчин и женщин действовал не столь строго. В тех же случаях, когда на производстве была потребность в дополнительной рабсиле, лагерная администрация не спешила строго следовать правилам, и женские бригады часто выводились для работы вместе с мужчинами. Вот и на этот раз небольшую группу женщин присоединили к нашей бригаде, и, перемешавшись, общая колонна двинулась на завод. Женская бригада состояла почти исключительно из старых лагерниц-уголовниц, все они имели знакомых среди зека-мужчин и сразу почувствовали себя в нашей колонне среди своих.

Женщина испуганно оглядывалась по сторонам. Мрачный облик и жадные, ищущие взгляды изголодавшихся по женщинам старых лагерников, откровенно и хищно оглядывавших вновь прибывшую и отпускавших по ее адресу скабрзные шутки, — все это могло внушить страх кому

угодно. Картину дополняла одежда заключенных: ушанки двадцать пятого срока, которые порой не снимались все лето, рваная обувь. Особенно неприглядны были грязные бушлаты или телогрейки с торчащими из дыр во все стороны кусками обгорелой ваты. Во время работы в лесу повсюду горят костры, ватные бушлаты легко загораются от разлетающихся искр, и вата тлеет часами, так что в бушлатах образуются большие дыры, с обгорелыми бурными разводами по краям. Вдобавок, заметив испуг женщины, бригадный остряк «мора» (так обычно именовались в лагере цыгане), сверкая черными глазами, сдвинувши для устрашения шапку набекрень так, что шнурок от нее сползал на глаза, стал медленно пробираться к ней через толпу.

В эти дни я находился в карантине, особой внутрилагерной зоне, потому что и сам прибыл в лагерь недели за полторы до этой встречи. Я не успел получить обычное лагерное обмундирование, на мне были шинель и офицерская шапка, в которых я проходил все месяцы следствия на Лубянке и в Лефортово. Поэтому моя внешность заметно отличалась от облика старых зека, что, по-видимому, и побудило молодую женщину сделать попытку пробиться ко мне через толпу. Я уловил ее робкий, испуганный взгляд и, приблизившись к ней, спросил:

— Недавно с воли?

— Вчера этапом из тюрьмы.

— Где вы сидели?

— В Москве на Малой Лубянке (следственная тюрьма московского МГБ) и в Бутырках.

— Пятьдесят восьмая?

— Да, пятьдесят восемь, пункт десять, пять лет.

В это время колонна двинулась, мы пошли рядом, и женщина рассказала свою по тем временам достаточно банальную историю. Ей 26 лет, она художница, работала по оформлению каких-то выставок, была замужем, у нее есть ребенок, мальчик трех лет. В Бутырках следователь ей сообщил, что муж вскоре после ее ареста подал на развод, а сына взяла на воспитание мать мужа. О ребенке она ничего не знает. Сидит потому, что что-то сказала подружке-художнице, а та донесла «куда надо». А еще в 37-м году арестовали отца, заведующего закрытой столовой, его обвинили в намерении отравить каких-то начальников, которых потом самих арестовали и расстреляли. А теперь вот и она созрела

для ареста, и ей, дочери врага народа, легко было пришить, как и отцу, террористические намерения. Но следователь оказался сочувствующим и добрым человеком и посадил ее по статье «за антисоветскую агитацию» всего лишь на пять лет. «Следователь меня спас,— сказала моя новая знакомая,— он мне объяснил, что, если я признаю свои разговоры с подругой, отпадет статья о терроре, и меня не расстреляют».

«Ох уж эти добряки-следователи»,— подумал я, но разочаровывать ее не стал, ведь коль скоро она попала в тюрьму, ей все равно было не миновать лагерного срока.

Всю дорогу, испуганно оглядываясь, женщина, в нарушение конвойных правил, держала меня под руку. К счастью, путь до лесопильного завода был не столь уж долг, и конвой не обратил на нас внимания. В заводской зоне женщин отделили от мужчин, поставили на штабелевку досок и для порядка назначили им в качестве охраны одного солдата.

Когда после окончания рабочего дня бригады стали собираться у заводской вахты, ожидая, чтобы их отконвоировали в жилую зону, моя новая знакомая, отыскав меня в толпе, немедленно ухватила за мою руку. Окружающие нас работяги сочувственно гоготали: «Ишь, только приехал, а уже бабу...»

Во время работы моя новая знакомая получила наглядный урок лагерных нравов. Не прошло и десяти минут, как то одна, то другая женщина незаметно удалялась, а спустя десять — пятнадцать минут возвращалась, получив тут же за штабелями порцию мужской ласки от случайных встречных из числа заводских работяг. Вернувшись в бригаду, искательницы земных радостей спешили поделиться пережитым с товарками, не пренебрегая в своих рассказах самыми интимными подробностями. Некоторые отправлялись за штабеля по многу раз, ибо, как они говорили: «Когда еще дорвешься до мужского...» И сетовали на одинокую бабью долю в лагере. Обо всем этом молодая женщина рассказывала сбивчиво и взволнованно.

Надо сказать, что положение мое в это время было не из легких. Месяцы тяжелого следствия в Лубянской и Лефортовской тюрьмах сделали свое дело, а после рабочего дня на сортиплощадке (мы ее называли спортплощадкой), где с семи утра и до шести вечера приходилось стаскивать

с непрерывно движущегося конвейера шестиметровые доски, «пятидесятку» и «дюймовку», и укладывать их по сортам в пакеты (так называемые сани), я еле волочил ноги. На роль доблестного и бесстрашного защитника женщин и угнетенных я в это время едва ли тянул, но тем не менее те полторы недели, в которые женскую бригаду выводили на лесозавод, я неизменно шел на работу и с работы в сопровождении своей дамы и терпеливо выслушивал ее рассказы о прошлой жизни, о детстве, которое выглядело в ее освещении вполне лучезарным, о бросившем ее муже и оставленном ребенке, о том, каково ей жить среди солагерниц-уголовниц и как страдает она от царящего вокруг разврата и цинизма.

Тюрьмы и лагеря то сводят людей в одной камере или зоне, то разлучают их по капризу следователей или администрации, и часто им больше не суждено встретиться. Поэтому я несколько не удивился, когда однажды бригаду моей случайной знакомой перестали выводить на завод, а через некоторое время женскую зону близ нашего лагпункта вообще ликвидировали. Всех женщин перевели на другие подразделения лагеря, отдельные лесоповальные пункты которого тянулись вдоль железнодорожной ветки на десятки километров. И, как это всегда бывало при исчезновении встреченных в мутном потоке лагерной жизни людей, я напрочь забыл о своей спутнице.

Шло безрадостное лагерное время, и вот однажды, года через три после нашей первой встречи, мою бригаду гнали с работы в зону. Это был летний, относительно для севера жаркий день, темнело в это время года довольно поздно, и в седьмом часу солнце еще светило вовсю. По дороге мы должны были пересечь полотно железнодорожной ветки, и тут я увидел возле шлагбаума одинокую женскую фигуру. По внешнему виду было легко определить, что это бесконвойница. Администрация лагеря постоянно нуждалась в индивидуальном труде заключенных, например, для вывозки из леса пиловочника, для работы на железной дороге и на других объектах. Вместе с тем она была не в состоянии обеспечить всех единичных заключенных конвоем. Поэтому на подобные работы назначали осужденных на небольшие сроки или отсидевших большую часть срока зека, которым выдавали пропуск, позволявший в определенные часы и по строго определенному маршруту передвигаться за пределами зоны без конвоя. Бесконвойники были привилегированной

частью лагерников. Они имели возможность заработать немного денег, купить за зоной кое-что из еды, в том числе и спиртное, а при некоторой ловкости обеспечить себе и «личную жизнь».

Женщина у шлагбаума была одета в новенькую телогрейку, аккуратно подогнанную по росту и фигуре, с щегольским воротничком, на голове у нее вместо традиционного лагерного, сшитого из портяночного материала капора был берет, а на ногах вместо лагерных ботинок туфли. Я бы не обратил на нее внимания, если бы из нашей колонны один щеголеватый, одетый в красную рубашу блатнячок неожиданно не окликнул ее по имени. Женщина ответила, и между собеседниками начался обычный в среде уголовников короткий диалог, состоявший из блатного жаргона, матерной брани и псевдолюбовных откровенностей. Из непродолжительного обмена репликами можно было понять, что переговаривавшиеся состояли раньше в любовной связи, но ныне парня законвоировали за какие-то режимные провинности. Женщина обещала в рабочее время пробраться на лесозавод, где для их свидания можно было найти подходящую «зачачку». Вся их речь, обильно пересыпанная непристойными шуточками, свидетельствовала о прочной и длительной связи женщины с уголовным лагерным миром. Во время короткой остановки перед шлагбаумом конвоиры также приняли живое участие в беседе, сообщив ей особую остроту и пикантность угрозами устроить чете свидание, отправив возлюбленных вместо «зачачки» в штрафной изолятор. Казалось, конвоиры наслаждались этой потехой и отводили душу, цинично сквернословя.

Я пригляделся к женщине и узнал в ней мою старую знакомую художницу. За прошедшие годы она растолстела, лицо приняло грубое и даже вульгарное выражение, брови были по лагерной моде выщипаны и наведены карандашом, а щеки покрывал довольно толстый слой румян и белил. Вдруг ее беспокойно прыгающий и ищущий взгляд скользнул по колонне и встретился с моим. Она сразу замолкла, и сквозь белила и румяна проступили красные пятна. Несколько секунд она молчала, а затем, выпалив в адрес ухажера целую тираду непристойностей, отвернувшись и быстро зашагала, почти побежала прочь от колонны. Нас погнали дальше, и женщина скрылась из виду.

Прошло еще два года: Я работал тогда на заводе на бирже готовой продукции, стал опытным бракером по лесу, перешел в категорию «придурков» и заведовал отгрузкой готовой пилопродукции, которую в соответствии с сортностью и спецификациями отправляли с завода в разные концы страны. В мои обязанности входило также выдавать отходы лесопильного цеха на топку местным жителям, большая часть которых состояла из работников лагерного управления, вольнонаемных, офицеров охраны и надзирателей-сверхсрочников, получивших в поселке жилье.

Однажды на лесобиржу пришел человек средних лет и предъявил наряд на машину дров. Мы разговорились. Он оказался инженером-путейцем, бывшим заключенным набора 37-го года, лишенным права покинуть район лагерного поселка. Мой собеседник работал по найму на строительстве железнодорожной внутрилагерной ветки, которая отходила от основной магистрали Москва — Воркута в глубь Архангельской области по мере того, как вокруг вырубался лес и основывались новые лагпункты. Он спросил о моей специальности и, узнав, что до войны я принимал участие в археологических экспедициях, поинтересовался, знаком ли я с работой геодезиста. Разумеется, в этом деле я ничего не понимал, но уж очень был велик соблазн переменить участь, во мне сработал комплекс старого лагерника, который всегда все умеет делать, и я ответил на его вопрос утвердительно.

— Нам на строительстве ветки нужен бесконвойный геодезист для прокладки трассы. Я попытаюсь добиться для вас расконвоирования, — сказал он.

Незнакомец оказался человеком слова, и я действительно месяцев через шесть получил пропуск. Однако администрация завода не отпустила меня, тогда уже хорошо освоившего специальность мастера леса, на строительство железной дороги, и я продолжал работать на лесобирже, но уже в качестве бесконвойного.

Как-то из-за очередной неурядицы с подачей порожняка для погрузки пиловочника начальник лесобиржи, вольняшка, послал меня в местное управление товарной станции для каких-то «выяснений». Я зашел в контору и вздрогнул от неожиданности. За большим конторским столом не сидела, а восседала с надменным видом моя старая знакомая. Она была одета, как мне, старому лагернику, тогда пока-

залось, по последней столичной моде. Так, во всяком случае, я, возможно по неведению, оценил ее кастрюлевидную шляпу и платье выше колен. Она отчитывала диспетчера-заключенного за неверную адресовку вагонов на какую-то лесоповальную точку.

— Ты что,— грозно кричала она,— хочешь залететь еще на червонец? Это я могу тебе сделать!

Потом она мельком взглянула на меня и, признав по лагерной телогрейке во мне зека, грубо спросила:

— А тебе что надо?

Я вежливо объяснил причину своего визита и, получив отрицательный ответ от большого начальства на все претензии заводской лесобиржи, понял, что беседа окончена. Я уже собирался, как бы мы сказали, откланяться и приоткрыл дверь, чтобы выйти, как вдруг во мне проснулось какое-то злое озорство. Я вернулся и сказал:

— А ведь мы с вами когда-то встречались! Вы меня не узнаете?

— Почему же, узнаю. Вы — доходяга, я вас встретила в первый день.

— Вы что ж, освободились?

— Да, как видите.

— И замуж вышли?

— Да!

— А кто же ваш муж?

— Заместитель начальника лагеря по режиму, майор Л.

Моя собеседница говорила все это спокойно, с чувством собственного достоинства и с сознанием того, что ныне она надежно защищена в жизни. Майор Л. был хорошо известной в лагере фигурой. Это был злой и жестокий человек, начавший свою карьеру простым надзирателем еще в 30-е годы, на его совести было много жертв. Ходили слухи, что в прошлом он лично осуществлял лагерные расстрелы.

Говорить с ней мне было не о чем, и я вновь направился к выходу, но уже в дверях еще раз оглянулся и на секунду замер от неожиданности. На меня смотрели широко открытые глаза, полные безграничной тоски, и, как мне почудилось, что-то блеснуло. Это продолжалось одно мгновение. Взгляд снова стал спокойным и жестким, подбородок выдвинулся вперед и обрел квадратную форму, губы плотно сжались в ниточку. Я повернулся к двери и, больше не оглядываясь, вышел из конторы.

СЕМЬЯ

Я работаю на окорке шпал, то есть срезаю с них кору. Шпала укладывается концами на два сбитых из дерева козла, и я с помощью струга — заточенной пластинки, на концах которой закреплены деревянные рукоятки, энергичными движениями на себя сдираю верхний слой древесины. Сперва я очищаю одну сторону шпалы, затем переворачиваю ее и очищаю другую. Болят и горят руки. Хотя я работаю в рукавицах, ладони покрылись ссадинами, а кое-где выступила кровь.

Всего одна неделя прошла с тех пор, как меня привезли в лагерь, и я еще числюсь в карантине. Но тем не менее нас выгоняют на работу — завод не выполняет план, и надо спешно подготовить шпалы для отправки. Кроме меня на эту работу поставили еще нескольких заключенных, и я вижу, как где-то в отдалении маячат фигуры двух других моих сотоварищей по карантину. За многие месяцы пребывания в тюрьме я ослаб и изголодался. Рабочий день на заводе продолжается одиннадцать часов. Во время небольшого перерыва нам привозят жидкую кашу из плохо вываренной пшеницы без жиров, и я с жадностью ее поедаю.

Норма на окорку большая — за смену я должен зачищать сорок шпал, сложить их в штабель и убрать образовавшийся мусор. Прошла уже большая часть рабочего дня, а я с утра закончил только седьмую. Обессиленный, я присел рядом со своей продукцией. С грустью взираю на груды лежащих поодаль неокоренных шпал.

Шагах в десяти от меня сидит на бревне какой-то паренек и изредка бросает на меня несколько недоуменный взгляд. Он тоже прибыл недавно в карантин. По виду это мелкий воришка, которых в карантине немало. Пареньку можно дать лет семнадцать. Он небольшого росточка, худенький, с правильными чертами очень молодого лица, на котором еще сохраняется юношеский румянец, с красивыми серыми глазами и чудной копной светлых, цвета соломы, волос, пряди которых выбиваются из-под маленькой кепочки, лихо заломленной на затылок. Паренька можно было бы назвать красивым, если бы не глубокий свежий шрам, начинающийся у подбородка и протянувшийся по всей щеке, делающий его старше своих лет. Белая, не первой свежести рубаха надета поверх брюк. Он разут, и его голые загорелые

ноги покрыты толстым слоем пыли.

Паренек подходит ко мне.

— Покурить есть?

У меня с собой махорка, и я, радуясь предлогу на некоторое время уйти от работы, вынимаю пачку, и мы курим.

— Небось из Москвы? Политик?

— Да.

— Пятьдесят восьмая, пункт десять. Разговорчики?

Я улыбаюсь проницательности паренька.

— Из ученых! Ну я так и знал! Я по лагерям вашего брата много повидал. Люди все хорошие, честные, не ругаются, не то что мы, ворье.

Паренек подымает с земли струг и, осмотрев его, говорит:

— Плохо заточен. Ну ладно, попробую.

Он подходит к лежащей на козлах шпале, делает какое-то едва уловимое движение, и тут происходит чудо. Струг легко, как по маслу, скользит по шпале, снимая ровным слоем кору, которая длинными тонкими полосками падает на землю. Проходит несколько минут, и одна сторона шпалы очищена от коры. Паренек переворачивает шпалу, и вот уже зачищена и другая сторона. Паренек скидывает шпалу и кладет на козлы новую. Я с изумлением смотрю на происходящее чудо. В какие-то пятнадцать — двадцать минут паренек делает то, над чем я быюсь более двух часов.

— Как это у тебя получается?

— Да просто. Тут главное — хорошо наточить струг и направить его. Я ведь здешний, архангельский, деревня наша километров двадцать отсюда будет. У меня и братеня здесь в лагере надзирателем служит. С малых лет мы всей семьей в лесу работаем.

— Ну, а свою работу ты как, уже выполнил?

— Я! — паренек даже хмыкнул от злости. — Чтобы я на начальничка работал, да еще в карантине! — Паренек замысловато по-лагерному выматерился. — Я этот лес не сажал, пошто пилить его буду! Просто вижу, мучаешься ты с этим, — он ткнул пальцем в сторону шпал, — жалко стало, вот я и помог. Срок у меня не очень большой, верно, расконвоируют и возчиком пошлют. Ну это еще куда ни шло. А там посмотрю, что делать.

— Ты что ж, вор в законе?

— В законе, не в законе, но особо рогами упираться не буду. Пусть начальник упирается. Я ведь третий срок тяну. Первый раз в четырнадцать лет в колонию попал, потом опять в колонию, а сейчас вот сюда прислали. Дали за карман четыре года как рецидивисту. Ну, да не впервые.

— А что у тебя за свежий шрам на щеке?

— Да на пересылке в Вологде одна сука меня бритвой резанула. Чуток выше — и глаз бы вытек. Ну, ничего, обошлось.

Удивительно милая, почти детская улыбка осветила лицо паренька, и он, неожиданно поднявшись, зашагал куда-то в сторону лесоцеха.

Вечером в карантине мы перебрались еще несколькими словами, а утром паренька взяли на этап. Во время вечерней переклички по формулярам я услышал его фамилию — Красношерстов, которая прочно засела в моей памяти.

Прошло несколько лет. Я работал тогда в бригаде лесобиржи. Как-то я оказался свидетелем необычного зрелища: на телеге с раздвинутыми осями, запряженной худой, только кожа да кости, лошаденкой, в лагерных бушлате и кепчонке, приехал какой-то худенький старичок. Он восседал на двух шестиметровых бревнах. Приехавший вручил заведующему лесобиржи, также заключенному, какую-то бумагу. Заведующий велел старику отвезти бревна к сортировочному бассейну лесоцеха и сбросить их в воду.

— А документик? — забеспокоился старик.

— Не нужно документа, не обманем тебя, — сказал, улыбаясь, заведующий.

— Вы уж меня, старика, не обидьте! — униженным, просительным голосом сказал старик и повез бревна к бассейну.

Оказывается, жившие в лесу обитатели архангельских сел и деревень не имели права рубить и пилить лес для своих нужд. Если кто-либо нуждался для своего хозяйства в нескольких досках, он должен был получить специальное разрешение, чтобы срубить с ведома лесничего несколько деревьев, и другое разрешение на распиловку этих деревьев на лесопильном заводе. Наш завод, перемалывавший сотни кубометров пиловочника в сутки, должен был выдать взамен привезенных бревен несколько досок соответствующей кубатуры.

Мужик сбросил свои бревна в бассейн и вернулся к нам на биржу за досками. Он страшно боялся, что его обманут и не отдадут положенного. Бедняга так привык к тому, что его везде обманывают и мучают, что и здесь ожидал подвоха.

Заведующий биржей поручил мне отпустить старику доски. Оформляя документы, я случайно взглянул на фамилию: Красношерстов.

— Уж не твой ли сынок был у нас в карантине несколько лет тому назад? — спросил я.

— Он, он,— забормотал наш гость,— сидит тут недалеко, еще годик остался. Два сыночка у меня, один сидит, а другой тут в охране служит. Школу МВД кончил, лейтенант.

Я почувствовал, что старик не знает, каким способом лучше заслужить мое благорасположение. С одной стороны, видно, я заключенный и, следовательно, должен сочувствовать отцу зека, а с другой стороны — хоть и маленькое, но начальство — выдаю доски, а стало быть, должен ублажить отца лейтенанта. Но тут подоспело время обеда, и я пригласил мужика в курилку.

Надо сказать, что наша бригада на бирже по лагерным понятиям жила неплохо. Заслуга в этом принадлежала дневальному лесобиржи, пожилому человеку из Подмосквы, некоему Ивану Ивановичу, в прошлом хозяйственному работнику, получившему по указу «за расхищение социалистической собственности» высшую меру, замененную ему на двадцатипятилетний срок заключения. «Решили продлить мне жизнь», — грустно острил семидесятилетний старик. Человек хозяйственный и расторопный, он организовал быт нашей бригады, варил из чего попало на печке в курилке обед, и мы на работе были всегда сыты. Где-то он доставал крупу и картошку, а кому-то из дома присылали сало и консервы. Вот и в этот день наш Иван Иванович соорудил в огромном котле жирную и густую затируху, в которой плавали кусочки сала и мяса, и вся бригада собралась в курилке, ожидая обеда. Привел я и старика.

Лагерники, особенно уголовники — народ беспощадный, многолетняя жизнь в заключении не делает человека добрее. Работяга-мужик с точки зрения жулья — существо глупое и жалкое, имущество которого воры имеют право изъять на том основании, что они «щедрые, широкодушные и им ничего не жалко». Все это, конечно, вымысел любителей чужой

собственности, которым иногда хочется иметь моральное оправдание их доблестной профессии. Вот и на этот раз старик стал объектом насмешек, особенно когда выяснилось, что сын его служит в охране. Однако бедняга терпеливо и безропотно сносил все, что ему говорилось, всячески желая добиться благорасположения работяг в надежде, что они его не обидят с пиломатериалом.

В это время на биржу привезли на лесовозе пакет досок, и я отправился «отоваривать» старика. Я помог ему погрузить на телегу доски, объем которых превышал в несколько раз то, что ему полагалось. Радости его не было предела, он только что не плакал.

Между тем подоспела похлебка Ивана Ивановича, все сели за стол. Налили миску и нашему гостю. Он съел одну тарелку, ему налили другую, он съел одну пайку хлеба, ему сунули еще один ломоть — он и его умял. Старик был доволен, он даже как-то вдруг помолодел. Выяснилось, что он вовсе не стар, — ему оказалось чуть больше пятидесяти лет. Он постепенно отошел от сковывавшего его страха и стал рассказывать о своей жизни. Работал в колхозе, причем за свой труд почти ничего не получал, а жил с небольшого участка возле дома, который обрабатывал в праздники и по ночам, а в зимнее время немного промышлял охотой и рыбной ловлей. В общем, кое-как перебивался и не всегда был сыт.

— А ты к нам в лагерь переходи, — зло острили работяги, — будешь всегда накормлен по норме и одет по сезону!

— Братишки, — вдруг прорвало старика, — я и сам иногда об этом думаю, так эта жизнь надоела. Да старуху как же одну оставить!

— Ну а сын-то твой, лейтенант, тебе хоть помогает? — спросил кто-то.

— Да что вы, братцы, сын, сын. Я его три года как в глаза не видел, — со злобой сказал старик, — он говорит, что мы с Сашкой его копромутируем. Дескать, в семье уголовник, а он с преступным миром войну ведет. Вот ведь какие дела.

Постепенно насмешки над стариком как-то сами по себе прекратились. На всех, видно, произвел впечатление его рассказ. Да и зрелище того, с какой жадностью он ест, явно оказало свое влияние. При всей своей черствости лагерники хорошо понимали, что такое чувство голода. Все как-то

присмирели, а один изрек:

— Да-а-а, житуха!

Сытый и довольный, старик уехал, увозя свои доски.

В народе существует множество поговорок типа «гора с горой не сходятся, а человек с человеком всегда сойдутся» или «тесен мир». И действительно, для законченного представления о семье Красношерстовых мне не хватало третьего, и он, наконец, появился.

Однажды к нам на биржу пожаловал красивый, стройный и молодцеватый блондин, старший лейтенант. Он был одет в хорошо пригнанный новенький китель с розовыми погонами. Все пуговицы горели золотым огнем, а сапоги были начищены до такого блеска, что, казалось, в них можно смотреться вместо зеркала. Кожаная портупея и кобура с пистолетом придавали ему лихой, воинственный вид. Он предъявил справку о том, что строит в поселке дом и нуждается в пиломатериалах, с вышней-приказом начальника лагеря, предписывавшего лесобирже выдать ему требуемое. В документе стояла уже знакомая мне фамилия. Подкатила и машина, на которую мы начали грузить доски. Старший лейтенант суетился, с пристрастием опытного бракера осматривая каждую доску и отбрасывая ту, в которой находил малейший брак. Он прикидывал на нас, грузчиков, но при этом на его губах блуждала знакомая мне семейная улыбка. Он заставил нас полностью перегрузить машину, дабы вторично осмотреть получаемый пиломатериал.

— Хоть сигареткой угости, начальник,— пропел один из зека.

Наш гость в ответ только пожал плечами.

Во мне проснулась злость. Я подошел к нему и громко, так, чтобы слышали все присутствовавшие, сказал:

— А ведь я имел случай познакомиться с вашим младшим братцем и батюшкой. Очень симпатичные люди. Братишка ваш тут работал со мной в одной бригаде на заводе, а батюшка приезжал за досками, жаловался, что вы его совсем позабыли, не посещаете. А ведь он живет тут недалеко, можно было бы и навестить старика!

Эффект от моего заявления намного превзошел мои ожидания. Лицо нашего гостя утратило все свое самодовольство и перекошилось. Можно было подумать, что ему пришлось откусить что-то ужасно горькое. Он с ненавистью на меня посмотрел, явно имея намерение к чему-либо придаться,

но оснований для этого в моих словах не было. Тогда он, ничего не ответив, круто повернулся и быстро зашагал по направлению к вахте. Уже погруженная к этому времени машина последовала за ним.

Так завершилось мое знакомство с семейством Красношерстовых.

ХУДОЖНИК

Мой новый сосед по нарам оказался тихим, спокойным и молчаливым человеком. Мы почти не разговаривали, и я, предпочитая в то время оставаться один на один со своими мыслями, был этому только рад. Недавно перед этим умерла моя мать, о чем я догадался по некоторым косвенным признакам, ибо отец, щадя меня, о ее смерти не писал. В то время осуждение человека на десять лет воспринималось не без основания как смертный приговор, мать не смогла перенести потерю единственного сына и ушла в небытие без явных признаков какой-либо определенной болезни. Тяжелый быт также не благоприятствовал человеческому общению. Изнурительная работа и недостаточное питание подтачивали силы, и я был рад, когда мне по возвращении в зону удавалось взгромоздиться на верхние нары в самом дальнем от входа углу и забыться в смрадном воздухе узкого барака, где помещалось более сотни заключенных.

Уголовники — народ весьма наблюдательный, их профессия способствует развитию внимания к окружающему. И хотя сосед вроде бы не проявлял ко мне большого интереса, он был, по-видимому, полностью в курсе моего несложного быта. Как-то он углядел меня стоящим в толпе зека в столовой с миской в руках, и вид мой показался ему достаточно красноречивым. В 1949 году голода в лагере в точном смысле этого слова уже не было, но, конечно, на казенной кормежке при работе в лесу или на лесопильном заводе прожить было нелегко.

Он подошел и спросил:

— Есть хочешь?

— Да,— ответил я.

— На, возьми,— сказал сосед и протянул мне миску, доверху полную кашей.

Я остолбенел при виде такого богатства.

— А как же ты? — растерявшись, спросил я.

Сосед только махнул рукой.

— Я здесь не обедаю.

Вечером в бараке я впервые поговорил с Сергеем «за жизнь».

— У тебя чая нет? — спросил он.

Чай иметь в лагере запрещалось, так как уголовники изготавливали нечто вроде слабого наркотического снадобья — чифирь — чайный напиток очень высокой концентрации, и я, естественно, решил, что ему нужна целая пачка.

— Есть, но только всего на одну, обычную заварку.

— Я не чифирую. Просто люблю побаловаться чаем.

Сергей сбегал на кухню за кипятком, и, устроившись на верхних нарах по-турецки, друг против друга с кружками в руках, мы повели неторопливую беседу. Уголовники любят покрасоваться и рассказывать о своих былых профессиональных подвигах разные небылицы, но в данном случае речь зашла совсем о другом.

— Мне на кухне повар даст все, что я пожелаю, я для этих обормотов делаю карты.

Я заинтересовался.

Усмехнувшись, мой собеседник извлек из-под матраца папку с листами ватмана, обрывок какого-то журнала, палочку с резиноподобным наконечником, чем-то смазал наконечник, поколдовал над ним, прижал палочку к журнальному листу и к вырезанному квадратику ватмана и через минуту, как фокусник, протянул мне бумагу с оттиском, ничем не отличающимся от типографского. Затем он сделал несколько карандашных штрихов, и на бумаге появился бородатый король с короной на голове, скипетром в одной руке и булавой в другой. Это была настоящая игральная карта, ее оставалось только раскрасить.

— Вообще-то мне это все не нужно, я в нашу столовую не хожу, ем на заводе. Мне вольные приносят все, что надо, — сказал он.

— А что у тебя там еще в папке?

— Да так, всякая ерунда.

— Может, покажешь?

Сергей вновь вытащил папку и небрежным жестом выкинул из нее целую пачку карандашных набросков на ватмане. Это были странные портреты с вытянутыми снизу вверх или растянутыми справа налево лицами, как в зеркалах комнаты смеха. Рисунки походили на нечто среднее

между дружеским шаржем и карикатурой. Приглядевшись, я стал узнавать тех, кого художник пытался изобразить. Это были обитатели нашего барака, причем отличительные черты каждого из них были гипертрофированы до предела. Но более всего меня поразило то, с каким мастерством Сергей передал внутренний облик своих персонажей. На меня смотрели характерные для уголовного мира лица с маленькими лбами, выдающимися массивными челюстями, жестким взглядом слегка прищуренных глаз. Портретист как бы увидел их изнутри, и в трактовке были одновременно и ирония, и сочувствие. Мне стало ясно, что передо мной настоящий художник. Недостаток технических навыков и знаний Сергей компенсировал своеобразным, вполне сложившимся, очень личным видением мира.

— Ты кому-нибудь показывал свои рисунки?

— Да, показывал, — как-то вяло и равнодушно ответил Сергей.

Эпически неторопливо он начал свое повествование:

— Волжанин я, из-под Саратова, родился в деревне. Образование какое, сам знаешь, сельская школа. Уж я и не помню, когда начал рисовать. Наши деревенские смеялись: непохоже, а я все рисовал и рисовал.

Призвали в армию, а как отслужил — приехал в Москву, хотел поступить в художественное училище. Пришел, показал рисунки.

Какой-то хмырь в очках посмотрел и говорит:

«Ты же не реалист», — и опять их вечное «непохоже».

А я ведь точно знаю, что именно у меня все очень похоже. Но по-настоящему я это только потом понял.

А другой еще говорит:

«Это ты под влиянием Модильяни».

А я об этом художнике в то время и слыхом не слыхал. Словом, меня даже до экзамена не допустили. Походил я в Москве по музеям и выставкам. Ну и рисовал, конечно. А тут еще женился, и ребенок родился. А у меня, да и у жены ни прописки московской нет, ни жилья. Так мы и скитались, снимали комнату, а у одной бабки просто угол. На окраине города это было. Я ей и дрова колол, и воду таскал. А зарабатывал тем, что афишки для кино рисовал. Там один запойный пьяница числился, а я, так сказать, был при нем вроде субарендатора. Как-то привел ко мне дружок, так же, как и я, вольный художник, знатока. По-

смотрел тот мои картины, поохал и отвалил мне сразу за все тысячу рублей. По тем временам хватило их нам, конечно, ненадолго. Но жить надо, деньги во как были нужны. А у меня руки хорошие, дружки говорили — золотые. Тут попалась мне книжечка про заграничных преступников. Детектив. Я вообще-то эту литературу особо не жалую. Дома обычно жена читала. А тут как-то не спалось, я и схватил. И надоумила меня эта книжка сделать одно дельце. Только нужен был для этого чистый паспорт.

Сергей на минуту замолчал, задумался, что-то припоминая.

— Съездила жена к себе на родину в Малоярославец. Пришла в милицию, дескать, потеряла паспорт. Ну, конечно, сунула кому надо. Помурыжили малость и выдали новый. Я взял старый, смыл все, что там про нее было записано. Для этого пришлось с химией повозиться, новой специальностью овладел. Вписал туда чужие имя и фамилию, и все другое. Приехал в Куйбышев. По поддельному паспорту положили в разных сберкассах по сто рублей на аккредитив. Тут я попрактиковался немного и овладел ремеслом, у меня это хорошо получается. Были аккредитивы по сто рублей, стали по тысяче. Все там было честь по чести, даже водяные знаки в порядке — не придерешься. Сели мы в самолет — и в Тбилиси. Проехали по сберкассам, сняли по тысяче и в Крым. Там и засели. Я рисую, жена с сыном пляжата. Очень мне эта вольная жизнь показалась. Я до денег особо не жаден, однако свободу ценю. Жили скромно, но рано или поздно, сам знаешь, всякие деньги приходят к концу. Тут мы в новый рейд, на этот раз на Урал и в Сибирь. А потом снова в Крым. Так лет шесть жили. Там бы я и по сей день горя не знал. Жена мне друг, меня понимает и сочувствует. И всегда говорила:

«Ты, Серега, главное, рисуй, а о жизни меньше думай, как-нибудь проживем».

Но заскучал я в Крыму без выставок и музеев. Ведь все это только в Москве и в Ленинграде. Стал я теребить жену — переедем да переедем. Ладно, перебрались в Москву, снова поселились у бабки. А тут жена забеременела. Присмотрел я одну старушку, договорился за полсотни в месяц, чтобы приходила жене помогать, стирать там, готовить. А ты наш народ знаешь. Все друг за дружкой следят и все завидуют. Сидят кумушки у ворот и обсуждают: «Ни-

где не работает, а живет хорошо и еще прислугу заимел!» Кто-то стукнул, за мной и пришли. А потом и жену взяли. Предъявили мне мои аккредитивы, ну, может быть, одну десятую, остальное не раскопали. Сам знаешь, как они работают. Экспертиза была, прижали, и я раскололся. А жена в несознайку, она за меня горой. Дали нам очную ставку. А я так подумал: жена ждет ребенка, и ее скоро, как мамку, и так могут отпустить, а мне все равно сидеть. Зачем же ее зря мучить. Я ей знак дал, дескать, говори. Ее, и верно, вскорости отпустили, а мне вот двадцать лет отвалили по указу. Да я и здесь не пропаду, работаю слесарем в ремонтно-механических мастерских. Для вольных делаю то одно, то другое — копейка всегда есть, и жрать принесут. Одно лишь плохо, рисовать нет условий.

Сергей умолк.

Я подумал: а что, если бы приемная комиссия художественного училища не мерила бы столь жестко искусство начинающих художников-абитуриентов соцреалистическим аршином и проявила бы большую широту вкусов и отзывчивость? Может быть, не сидел бы сейчас передо мной на нарах мошенник, а на выставках висели бы картины оригинального художника?

Мы пьем чай в притихшем бараке. Порой кто-то вскрикивает и сквозь сон что-то бормочет. Заключенные спят беспокойно, по ночам часто кричат — все то, что днем таится в подсознании, вылезает наружу. Душно. Мы оба страдаем от духоты. Поэтому у меня с Сергеем тайный уговор: всякий раз ночью, когда один из нас выходит из барака, мы, возвращаясь, оставляем дверь настежь открытой. Вот и сейчас я выхожу проветриться. На улице сорок пять градусов. Клубы холодного воздуха пробиваются сквозь спертый воздух, и на несколько минут становится легче дышать. Потом кто-либо из спящих у двери просыпается от холода, встает, ругаясь, и закрывает дверь. За ночь мы повторяем эту операцию несколько раз.

ИГРОК

Первая лагерная зима 1949/1950 годов была для меня особенно тяжелой. Я не имел профессии, которая могла бы в лагере пригодиться, и меня гоняли по разным общим работам с места на место «пилить, носить, тащить, толкать»

и т.д., словом, куда только не придет в голову нарядчику. Вообще в лагере были три-четыре специальности, которые могли избавить заключенного от порой непосильных работ и создать ему не только более или менее приемлемые условия существования, но даже в какой-то мере стать источником обогащения. Я оставляю в стороне, конечно, такую, к сожалению, не слишком дефицитную «профессию», как служба у «кума», которая могла обеспечить привольное житье даже при полном отсутствии какой-либо специальности. Для осведомителей предназначались должности дневальных в бараках, пожарников, кладовщиков и т.п., на которых можно было кантоваться. Впрочем, эта служба была не только неприемлема для уважающего себя человека по моральным соображениям, но и не всегда безопасна. Человек, скомпрометировавший себя доносом или даже подчас несправедливо заподозренный в этом, рисковал однажды стать жертвой упавшего бревна на погрузке или другого «несчастного случая». Перспективными были профессии врача, в крайнем случае фельдшера, бухгалтера-экономиста, инженера, иногда — парикмахера. Мне, филологу-востоковеду, в лагере, естественно, ничего не светило.

В середине зимы бригадир лесосека на лесопильном заводе определил мне работать накольщиком на сортировочном бассейне. «Это самая легкая работа», — сказал он. Однако меня сразу же насторожило то, что никто из старых зека на эту работу особенно не рвался.

Близ лесопильного цеха был вырыт котлован в форме прямоугольника, примерно 150 метров в длину и 30 метров в ширину, над которым были навешены деревянные мостики. Образовавшийся бассейн был заполнен водой, причем в зимнее время сюда подавали горячую воду с электростанции. Прибывавшие с лесопильных лагпунктов железнодорожные вагоны с пиловочником около бассейна разгружали, а бревна сбрасывали в воду. В воде же их и сортировали, промерзшие бревна отмокали и, попав на пилораму, не так сильно тупили пилы.

На сортировочном бассейне работали четыре человека, вооруженные длинными баграми. Один из бригады подгонял плоты с бревнами к сортировщику, другой, сортировщик, их разворачивал тонким концом в направлении бревнотаски, а комлем в обратном направлении и в соответствии с выпиливаемым ассортиментом строго по диаметру досылал их

двум накольщикам, которые «накальвали» их на непрерывно движущиеся бревнотаски, доставляющие бревна в цех на пилорамы.

Поскольку в ту зиму в Архангельской области стояли устойчивые морозы в 40 — 45 градусов, над бассейном все время висел густой пар. Было одновременно и очень сыро и холодно. Накольщику приходилось стоять почти неподвижно, как часовому, у бревнотаски и одиннадцать часов подряд, орудуя багром и двигая лишь руками, нанизывать одно подплывающее бревно за другим на движущуюся цепь. Работа была не очень тяжелая, однако через тридцать — сорок минут все тело пронизывала и обволакивала сырость, оставляя изморозь на бороде, усах и ресницах и проникая до самых костей сквозь жалкую лагерную одежку. Отойти для того, чтобы размяться и согреться, разумеется, было невозможно.

Опытные лагерники меня предупреждали, что в холодные дни при работе в лесу или вообще где-либо на воздухе ни в коем случае нельзя подходить к костру или к печке. Это может повлечь за собой воспаление легких, а при лагерьной медицине — даже смерть. Человеческий организм так устроен, что, как бы ни было телу холодно, оно приспособляется и привыкает. Этому мудрому правилу я следовал в лагере всегда и никогда не простужался. Я не имел возможности посмотреть на себя со стороны, но подозреваю, что выглядел, как немецкие военнопленные из-под Сталинграда. Еще в карантине мне выдали грязные бушлат и телогрейку, а вдобавок я выпросил у каптерщика еще одну телогрейку огромного размера. Все это я напяливал на себя. Моему приятелю, студенту, приехавшему из Лефортовской тюрьмы вместе со мной одним этапом, прислали белые щегольские валенки, которые оказались ему малы, и он уступил их мне. Но самым большим моим украшением была совершенно невероятная шапка-ушанка огромного размера, вся в каких-то бурых пятнах, с выдранными клочками ваты, которую мне подсунули в каптерке. Я напихал в нее газетной бумаги для тепла и в таком виде выходил на работу. Получилось настоящее чучело, и, помню, на разводе я очень стеснялся молодой фельдшерицы Искры, которой вменялось в обязанность присутствовать около вахты в момент выхода заключенных на работу, дабы следить за тем, чтобы все были одеты «по сезону».

Со мной в паре у второй бревнотаски работал симпатичный и интеллигентный литовец Линкавичюс, осужденный почему-то «за измену родине» на десять лет как пособник литовских партизан, в свое время боровшихся с немецкими оккупантами. Одетый в аккуратную, изящную, легкую, домашнего изделия телогрейку, он страшно мерз на работе и часто обращался ко мне с просьбой подменить его на несколько минут.

— Фильштинскис,— говорил он, придавая моей фамилии литовское окончание,— я только на минуточку схожу на электростанцию погреться у котлов.

— Не ходи, Линкавичюс,— отвечал я,— ты разогреешься, а потом здесь на морозе простудишься.

Но Линкавичюс меня не слушал и убегал, я же носился от одной бревнотаски к другой, нанизывая и его и свои бревна, и здорово разогревался.

Как я и предвидел, судьба моего напарника сложилась трагически. Он заработал гнойный плеврит, который лагерная медицина сперва не заметила, потом запустила, а потом начала варварски лечить, ломая ребра и выкачивая гной. Несчастный был доведен до такого состояния, что его сочли возможным активировать, после чего он вскоре, не покидая местной больницы, умер.

Мое появление на сортировочном бассейне было воспринято, как мне тогда показалось, несколько необычно. Уже минут через десять после начала работы на меня обрушился поток матерной брани, не вполне обычной даже для лагерной среды. Сортировщик Яша Желтухин поливал меня последними словами за какие-то истинные или мнимые промахи в работе. Сперва я был несколько обескуражен, но когда к нам подошел бригадир лесоцеха, мой и Яшкин начальник, и Яшка обрушил на него еще больший град непристойностей, я сообразил, что это для него обычная форма самовыражения. И действительно, во время короткого обеденного перерыва (на завод привозили в канистрах жидкую кашу) он подошел ко мне и угостил меня луковицей, а о своих претензиях ко мне во время работы даже и не упомянул.

Яша Желтухин был, несомненно, одной из самых красочных фигур того не совсем обычного мира, с которым меня столкнула лагерная судьба.

Точно воспроизвести рассказ Яши я, к сожалению, ввиду чрезмерного богатства его лексики не имею возможности и

ограничусь лишь некоторыми штрихами из его биографии, с которой он меня познакомил.

— Я из-под Харькова, в ломовиках был. Возили за деньги что ни попадя, разную кладь. Потом, как стали прижимать частный промысел,— продал лошадей и пошел в артель работать. Ну, как известно, пьянство, драки. Я там одного шkodника ножом колонул. Пошел за хулиганство. Отправили на Дальний Восток строить Комсомольск-на-Амуре. Твои б... и писатели что пишут? Комсомольцы, комсомольцы! Хрен им. Яшка Желтухин Комсомольск строил, а когда дома и судостроительный завод построили — комсомольцы приехали, а нас дальше погнали, в тайгу. Первый срок был детский — два года. Там дальше пошло. Пять судимостей у меня, все драки по пьянке. Словом, хулиган. А как война началась, меня из лагеря взяли и на фронт. Попал я в плен к финнам, батрачил там у одного. Я ведь из деревни, в тех делах понимаю. Полот, косил, делал, что придется. Ничего, на хозяина не жалуюсь. Как война кончилась, финны нас всех сдали Советам, я получил десятку за измену родине. Попал в политики. Так-то.

Яша был человек хозяйственный. Он нашел место близи запретки на территории завода и развел небольшой огород. Заводское начальство и надзор делали вид, что этого не замечают,— его крестьянская деловитость вызывала уважение.

Но что создавало Яше особую известность в зоне, а среди уголовников вызывало неприязнь и презрение, так это его специфический промысел. Яшка был золотарем и занимался в жилой зоне очисткой выгребных ям. Разумеется, никакой канализации в зоне не было, ямы под стоящими по углам зоны деревянными домиками быстро наполнялись, и от вредных запахов нас спасало лишь то, что лагерные бараки были выстроены на холме, овеваемом постоянно дующими с Ледовитого океана и создававшими естественную вентиляцию ветрами. Когда ямы наполнялись, Яшка, которого для этого освобождали от работы на заводе на целый день, получал телегу с лошадей, большой ковш и вывозил нечистоты в поселок, где у него их охотно покупали местные огородники из числа вольнонаемных и надзирателей. Лагерная администрация также платила ему отдельно за эту работу. Все это Яшка делал не из жадности, деньги нужны были ему для совсем особой цели.

Он месяцами копил их, работая на заводе, продавая картошку с собственного огорода, вывозя нечистоты, и все это для того, чтобы раза четыре в год предаваться своей фатальной страсти. Яшка не пил, не курил, почти не тратил денег на текущие нужды. Он был яростным картежником.

В лагере в карты обычно играли блатные — это входит в ритуал их взаимоотношений. Встретившись и выяснив между собой старшинство, они садились в кружок и играли сперва на свои, потом на чужие деньги и вещи, которые они тут же отнимали у «фрайеров», а порой даже и на чужие жизни. Яшка, хотя и не был «вором в законе», принимал в их играх самое активное участие.

Подготовка к очередному картежному игрищу начиналась обычно заблаговременно. Намечалась компания, договаривались о месте. Игра Яшки носила характер запоя, он не мог остановиться, пока не проигрывал все до копейки. Блатные обычно неохотно приглашают в свою компанию «мужиков», но в данном случае делалось исключение, ибо представлялась возможность обчистить Яшку до нитки. Яшка знал, что дело обязательно кончится полным проигрышем, но, видимо, удержаться от игры не мог.

Компания собиралась в глубине одного из барачков, к дверям ставился нанятый за деньги дозорный, который должен был предупредить игроков в случае появления надзирателей. Игра шла непрерывно всю ночь, и если Яшка оказывался в выигрыше, она возобновлялась и на следующую ночь, и так дело шло до тех пор, пока у Яшки оставались деньги.

Во время игры Яшка преображался, от былой неторопливости и флегматичности не оставалось и следа. Менялись его речь и весь облик, в такие минуты он буквально вырастал в сказочного героя. Глаза его горели, каждую карту он высоко поднимал в воздух, прежде чем шумно опустить на нары, губы его шевелились, и казалось, он вымаливал у судьбы победу. Если игра оканчивалась проигрышем, он приходил в барак, ложился лицом к стене, укрывался с головой бушлатом и неподвижно лежал весь следующий день. Нарядчику, приходившему в барак узнать, почему Яшка не вышел на работу, кто-нибудь говорил: «Проигрался!» и нарядчик молча уходил. Все уважали его страсть. Жизнь для Яшки была кончена до следующей карточной битвы.

Однажды привычный ритм Яшкиной жизни оказался нарушенным. Во время очередного карточного состязания надзиратели, видимо, заранее извещенные о намечающейся игре барачными стукачами, незаметно подкрались и стремительно ворвались в барак, прежде чем караульный сумел предупредить ее участников. Яшку схватили и, несмотря на яростное сопротивление, потащили в штрафной изолятор. И здесь мы увидели, как страсть может превратить сравнительно мирного в быту человека в грозного зверя. Яшка вырывался и рычал, страшные ругательства срывались с его уст. Ведь его пытались оторвать от наивысшего для него, почти физического наслаждения! Никакие угрозы и побои не могли удержать этого разъяренного льва. Но тут в бесвязных выкриках Яшки появились и новые нотки. Все увидели Яшку с иной, незнакомой стороны. Из страстного картежника Яшка буквально на глазах вырастал в бунтаря, не желавшего мириться с несправедливыми, навязанными ему нормами жизни. Люди приходят к пониманию права на личную свободу разными путями, и пожизненный зека Яшка неожиданно для меня также нашел свой путь. Почему, собственно, он не имеет права играть в карты на свои, заработанные честным трудом деньги? Он что, кого-либо убил, обманул или обидел? Он хоть и не очень грамотный, но человек, не желающий подчиняться правилам, продиктованным ненавистным режимом. Все эти мысли он выражал достаточно ясно на своем, не слишком изысканном языке. По дороге в штрафной изолятор, а дело было уже ночью, он так кричал, что разбудил всю зону. На него надели наручники, в изоляторе связали и избили. Еще долго оттуда раздавался нечеловеческий крик.

На следующий день Яшка присмирел. Он отсидел свои пятнадцать суток и возвратился в барак мрачный и опустошенный, как будто после большой пьянки. Порыв Яшки к протесту увял, и его потребность в самоутверждении вылилась в традиционные, привычные для него формы. И месяца через два в углу нашего барака всю ночь раздавались голоса и выкрики играющих. Прислушиваясь к выделявшемуся из общего хора басу Яшки, я невольно вспомнил игроков Достоевского с их неизбежной, все пожирающей страстью.

ЗАОЧНИЦА

Вселение Мишки в барак сопровождалось шумом, выкриками и матом надзирателя. Мишка качал права, что-то доказывал, ссылаясь на какие-то пункты правил содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях и инструкций ГУЛАГа. На все эти Мишкины вопли надзиратель неизменно отвечал: «Вот посажу на пятнадцать суток в ШИЗО, будешь знать законы». — «Не имеете права,— кричал Мишка,— есть инструкция ГУЛАГа за номером... о правилах помещения заключенных в штрафные изоляторы». В конце концов, то ли восхищенный Мишкиной юридической осведомленностью, то ли сочтя ниже своего достоинства продолжать спор с каким-то зека, надзиратель замолк, и Мишка был водворен на нижние нары у входа в барак, где на время утомонился.

Мишка был, как он выражался, «питерский». Наш лагпункт, подобно Ноеву ковчегу, содержал, как говорится, «всякой твари по паре», но город на Неве поставлял сюда, пожалуй, наибольшее число своих граждан. Возможно, сказывалась относительная близость Ленинграда и удобство транспортировки зека из города в Архангельскую область по железной дороге. Впрочем, надо отдать должное широкодушию диспетчерской службы ГУЛАГа, транспортные расходы эту организацию никогда не останавливали. Были случаи, когда за неделю до окончания срока заключенного из центральных районов этапировали на Дальний Восток, а если находили это нужным, отправляли на этап и по воздуху.

Судьба Мишки была несколько необычной. Делец, всю жизнь работавший хозяйственником, прорабом, завхозом и на других должностях, которые при отсутствии щепетильности могут приносить их обладателю немалый доход, и неоднократно судимый за различного рода хищения, он на этот раз залетел по пятьдесят восьмой статье. Вообще-то уголовникам и проворовавшимся хозяйственникам политическую статью давали не часто. Все они рассматривались в качестве согрешивших «друзей народа», которые, в отличие от политических преступников, так называемых фашистов, могли, а согласно трудам разных теоретиков и должны были «стать на путь исправления». Для того чтобы оскормиться и схватить пятьдесят восьмую статью, они должны были совершить нечто необычное. Уголовники часто отпускали в

адрес властей такие шуточки, за которые наш брат мог легко сработать новый срок. Однако им все сходило с рук, и в деле угнетения политических они у лагерного начальства играли роль первых помощников.

Мишка сумел пробиться в «политики» главным образом из-за своей совершенно патологической болтливости. Сев в очередной раз за мошенничество, он получил пятьдесят восьмую статью уже в лагере в результате своих яростных полемик с надзором по всякому поводу. Желая избавиться от досаждавшего ей крикуна, администрация намотала ему новый срок через суд.

С того момента как Мишка появился в бараке, он непрерывно говорил, мало заботясь о том, слушает его кто-либо или нет. В сферу его разносторонних интересов входило все: экономическое состояние страны, ее история, культура, политическое положение. В общем потоке его речи все это подавалось весьма неожиданно, в весьма субъективной интерпретации, и часто, при всей моей снисходительности, не вызывало у меня сочувствия. Однако это Мишку не останавливало, мое общество почему-то казалось ему особенно привлекательным. Не ожидая особого приглашения, он, усевшись возле меня на нары, пускался в долгие рассуждения и, произнося свой бесконечный монолог, полагал, что обменивается со мной мнением. «Люблю поговорить с интеллигентным человеком»,— говорил он при этом без тени юмора.

Мишка был убежденным сторонником свободного общества, но свободу при этом понимал весьма своеобразно. Он считал, что люди должны обогащаться, для чего следует расхищать государственную собственность, чем он, собственно, на протяжении всей своей жизни и занимался. «Не воруйте у людей,— кричал он на весь барак,— крадите у государства. Государство богатое, у него на всех хватит».

Будучи человеком с широкими экономическими интересами, Мишка задался целью выяснить, выгодна ли государству и обществу охватывавшая всю страну система так называемых исправительно-трудовых лагерей, и доказывал мне и каждому, что государство несет от них одни лишь убытки. Упреждая теоретические выкладки зарубежных и наших отечественных «зеленых», он с цифрами в руках объяснял, что природные ресурсы в стране не бесконечны и что вскоре, как он кричал, и жрать будет нечего, и гвоздя

нельзя будет найти, чтобы доску прибить.

Не был чужд Мишка и проблемам моральной ответственности. Самым большим преступлением он считал донос на казнокрадов и хозяйственных жуликов. Таких доносчиков, по его мнению, нужно было убивать. Всех же остальных нарушителей правопорядка он призывал после совершения первого проступка отпускать, а после повторного не отправлять ни в какие лагеря, а без промедления казнить. К ним он относил тех преступников, которые, как он говорил, посягают на личность: хулиганов, воров, грабителей и убийц.

Но главной темой Мишкиных откровенностей была, как он сам выражался, проблема прекрасного пола. Вообще отношение к женщинам старых лагерников было весьма противоречиво, в их разожженном длительным воздержанием воображении женщина рисовалась либо чистой, почти неземной, непорочной девой, либо закоренелой, погрязшей в грехе распутницей, только и мечтающей о том, как бы изменить попавшему в беду мужу или возлюбленному. Мишка в своих представлениях умудрялся сочетать эти две полярные точки зрения.

На стене над головой Мишки висела доска, покрытая стеклом, под которым в живописном беспорядке были размещены женские фотографии. Была у Мишки и специальная папка, где грудками лежали фотографии и вырезки из газет и журналов с изображениями женщин разного возраста, по тем или иным причинам не удостоившихся места на главном Мишкином иконостасе.

В те мрачные и тоскливые годы газеты и журналы были полны скучными рассказами о сельских и городских ударниках, прославленных свинарках, доярках и фабричных работницах, выполнявших и перевыполнявших всевозможные планы и программы. Ловкие журналисты изощрялись в разыскании подобных тружениц села и города, кропали о них и об их достижениях стандартные статьи, часто сопровождая их фотографиями героинь. Мишка знал, по каким дням в КВЧ (культурно-воспитательная часть) обычно приносили газеты, прибегал за ними первый и, опережая курильщиков, выдирал из них нужный ему материал.

Получив необходимые сведения, Мишка сочинял первое письмо. Текст его был более или менее однотипным, но обращения тонко различались в зависимости от социального

уровня адресата. «Дорогая Клава (или Клавдия Павловна), — писал он. — Я узнал из газеты о твоих (Ваших) трудовых подвигах и очень хотел бы с тобой (Вами) познакомиться. Твоя (Ваша) фотография мне очень понравилась. Мне сорок лет. Если ты (Вы) не возражаешь, напиши мне по адресу (следовал наш почтовый ящик). Михаил».

Обычно корреспондентки, увидев Мишкин адрес, принимали его за военнотруженика и присылали ответ. Если они сообщали, что у них есть муж, Мишка, как он говорил, списывал их в брак. Но если ответ его удовлетворял, следовало новое письмо, которое, как он считал, должно было «надорвать душу» всякой женщины. Это был трогательный рассказ о молодом неопытном человеке, совершившем ошибку, приведшую его в тюрьму, о его раскаянии и о страстном желании порвать с прошлым и впредь вести праведную жизнь. Автор предавался размышлениям о грустной доле преданного женой человека и где-то, между прочим, намекал, что сидеть ему в тюрьме осталось недолго, что он вот-вот должен освободиться и мечтает создать прочную семью. А взглянув на фотографию своей корреспондентки, он понял, что это и есть та спутница жизни, которая уготована ему судьбой. Если на письмо приходил ответ, то это, по словам Мишки, означало, что баба на крючке.

В послевоенные годы было много обездоленных женщин, но среди корреспонденток Мишки были и сердобольные, которые просто жалели несчастенького, сбившегося с пути «преступничка» и готовы были ему помочь.

Как и на все в жизни, у Мишки насчет его походов была своя особая теория. «Я же благодетель, — орал он на весь барак, — они же одиноки и этого дела никогда не видят. А я — мужчина в соку, я многое могу. А ведь женщине что главное — чтоб ее любили и она чувствовала, что нужна. А здесь страдалец за правду, как не посочувствовать и не помочь бедняге. Ведь и они там на воле все воруют, что ж она, не понимает? А потом женюсь я или не женюсь — дело десятое, а пока она и помечтать может. Да за одно счастье помечтать она должна мне ножки целовать». Как видим, Мишка в своем деле был одновременно и философ, и психолог, и поэт.

Как в прошлой жизни казнокрада-хозяйственника, Мишка и тут проявлял большую аккуратность в ведении дела. Учет всем дамам сердца велся очень строгой, для чего существовала особая тетрадь. Мишка не делал секрета из своих

занятий и охотно показывал свое делопроизводство всем, кто хотел. Каждое письмо фиксировалось, и сюда же заносились все сведения о возлюбленной и тексты писем. Это было необходимо для того, чтобы не попасть впросак, что было бы губительно для дела и рыбка — по словам Мишки — сорвалась бы с крючка. Тронутая Мишкиными настойчивыми просьбами, возлюбленная обычно присылала ему фотографию, которая занимала почетное место под стеклом на стене. Надо отдать должное Мишкиной деликатности, он никогда не просил первым о присылке чего-либо материального, но требовал проявления возвышенных чувств и в своих письмах часто жаловался на холодок в посланиях возлюбленной. «Все придет в свое время», — говорил Мишка, сообщая о своих делах сочувствовавшим ему нетерпеливым соседям по барaku. И время это наступало. В баракe появлялся надзиратель и приглашал Мишку вечером в служебное помещение, где ему выдавалась посылка с дарами от очередной возлюбленной. «Мне много не надо, — говорил Мишка, — две-три посылки в месяц я всегда получу». Присылку даров Мишка умело регулировал и, демонстрируя перед дамами сердца свою скромность, иногда просил его посылками не баловать, что вызывало, естественно, еще большее уважение к страдальцу и отправку новых посылок. Мишка не был скрягой и охотно делился присланным с друзьями в баракe. «Ешь, ешь, — говорил он, — она еще пришлет!»

Кульминационным моментом каждой любовной интриги Мишки, ее итогом и желанным завершением был приезд его корреспондентки в лагерь на любовное свидание. Мероприятие это подготавливалось исподволь, надежды женщин систематически разжигались письмами с выражением роковой страсти и клятвами жениться сразу же после освобождения. Под напором пламенных призывов Мишки удержаться от рокового шага было нелегко, и в конце концов следовало согласие на встречу, после чего Мишка вступал в переговоры о семейном свидании с кем-нибудь из надзирателей. Такие свидания разрешались только близким родственникам. Но красноречивый Мишка умел убедить надзор, что приезжает невеста. «Что-то часто к тебе невесты приезжают, — говорили надзиратели, — и все разные», — но, предвкусывая мзду за свой либерализм, давали возлюбленным возможность остаться наедине в комнате свидания на пару часов. С таких свиданий Мишка возвращался радостным,

умиротворенным и до поздней ночи делился со своими соседями по нарам впечатлениями от встречи. Излишние натуралистические детали ничуть не шокировали присутствующих, которые жаждали все новых и новых подробностей, шумно сопереживая их со счастливым. Разумеется, со свидания приносился обычно большой мешок со снедью, разными домашними пирогами и закусками, так что все вокруг были вдвойне довольны.

Однажды летом, в воскресенье вечером, когда на улице было еще относительно светло, я, тогда уже бесконвойный, быстро шел по деревянному настилу (тротуары в северных поселках еще и поныне делаются из досок или бревен) на завод и по дороге встретил женщину, лицо которой показалось мне знакомым. Чисто автоматически я поздоровался, и она, не без некоторого удивления, ответила на мое приветствие. Женщина отошла уже на значительное расстояние, когда я вспомнил, где ее видел — на Мишкином иконостасе. Я догнал ее и спросил:

— Вы приехали к Михаилу?

— Да,— ответила она, вопросительно на меня посмотрев.

— Я пойду его предупредить.

Возвратившись в зону, я застал Мишку за сочинением очередного письма.

— Вот эта женщина к тебе приехала,— я ткнул пальцем в фотографию.

— Не может быть, она мне ничего не писала.

— Тем не менее я только что с ней говорил.

Мишка разволновался. Как потом выяснилось, он в это время ожидал приезда одной заочницы, и незапланированный приезд другой женщины мог привести к катастрофе. Однако все обошлось. Приехавшая оказалась сорокалетней бухгалтершей из Вологды, давно лишившейся мужа и жившей с двумя детьми. Житейски опытная, она сама, без помощи Мишки организовала свидание, и через несколько часов Мишку вызвали на вахту, откуда он спустя некоторое время возвратился, нагруженный обильными приношениями. Я был признан важным звеном состоявшейся встречи, и, как я ни отбивался, мне от даров была выделена особая часть.

— Ты нас обидишь, меня и Александру Ивановну,— говорил полностью вошедший в роль жениха Мишка.

Прошло много лет с амнистиями и реабилитациями. Как-то осенью я приехал в командировку в Ленинград и шел по

Дворцовой набережной мимо Эрмитажа по направлению к Ленинградскому отделению Института востоковедения, когда со мной поравнялся хорошо одетый человек в дорогом демисезонном пальто, сквозь вырез которого выглядывал модный пестрый галстук, и красивой фетровой шляпе с пижонски загнутыми полями. Неожиданно он кинулся ко мне, обнял и принялся всасос целовать.

— Мишка,— оторопело крикнул я.

— Был Мишка, а теперь Михаил Георгиевич,— с некоторой долей юмора, но не без достоинства ответил он.

Несмотря на сопротивление, я был втиснут в стоящую за углом машину, украшенную внутри всякими подвесками, плюшевым мишкой со светящимися глазами и другими многочисленными атрибутами современного мешчанского быта. Мишка привез меня в богато обставленную квартиру, центральное место в которой занимали «горки» — шкафы, под стеклом в которых стояли во множестве хрустальные изделия всех фасонов и назначений. Тут я невольно вспомнил Мишкин иконостас. Но более всего меня поразила жена Мишки — ею оказалась та самая бухгалтерша из Вологды, которую много лет тому назад я встретил близ нашего лагеря. Александра Ивановна раздобрела, и с лица ее не сходила веселая улыбка сытой, ухоженной и чуть-чуть самодовольной женщины. Пока Мишка бегал за шампанским, она ввела меня в курс семейной жизни.

— Михаил Георгиевич очень изменился. Сперва думал баловать, по бабам бегать, да и на работе хапнуть, что плохо лежит,— опять бы в лагерь загремел. Я ведь все это знаю, когда-то и сама сидела. Все это я порушила, порядок навела. Теперь он на моем моральном бюджете. Живем хорошо, он состоит по хозяйству на большом текстильном предприятии. Так что, если что надо из тряпья — пожалуйста, сделаем. Дом, как видите,— полная чаша. У нас машина, дача на взморье. Мои дети вышли в люди: сын во флоте — офицер, дочь диссертацию пишет.

Александра Ивановна с гордостью на меня посмотрела.

— Переделала человека, теперь он у меня по струнке ходит!

Вечером Мишка отправился меня провожать.

— Поначалу было мне с ней трудно, женщина она сильная, ломала меня крепко. Ну, с бабами я, конечно, завязал сразу, да и возраст уж не тот. А вот с делами,— тут Мишка

хитро улыбнулся, — она ведь битая и раньше в этом разбиралась, не зря сидела. Бухгалтер. С ней всегда посоветуешься, скажет, как надо. В общем, живем хорошо, денег хватает, навар есть, но все чисто, не подкопаешься. Я доволен, и другого мне не надо.

Я смотрел на Мишку и думал о том, сколь великую преобразующую роль играет женщина в судьбе нашего брата.

ХЛЕБОРОБ

Штабелевание досок не требует большого умения и имеет с точки зрения лагерника некоторые преимущества. Это труд индивидуальный, и начальство, назначив урок, обычно перестает следить за зека. Здесь нет выматывающего нервы заводского конвейера, нет зависимости от других, и я всегда предпочитал эту работу, хоть она и не из легких, всем другим, ибо мог сам определять ее темп и ритм. Трудности начинаются лишь тогда, когда растущий штабель достигает высоты в несколько метров. Тогда один из работяг поднимается на штабель и укладывает доски, которые второй подает ему снизу, выжимая одну за другой через упор. Здесь уже возникает зависимость от партнера.

На этот раз мне довелось трудиться в паре с пожилым человеком, и я был удивлен той легкостью, с которой он подавал мне доски, выжимая их на руках, а когда мы менялись, легко принимал их и аккуратно выкладывал, делая между ними равные ветровые зазоры. Поработав часа два, мы сели перекурить, и мой напарник отрекомендовался:

— Ломша моя фамилия, хлебороб я, сижу за измену родине и террор. Срок — пятнадцать лет.

Что такое «измена родине», мне, лагернику, было хорошо известно. Сдав в начале войны противнику почти без боя миллионную армию, Сталин объявил всех военнопленных изменниками, «сдавшимися в плен с оружием в руках», и после войны трибуналы давали возвратившимся на родину солдатам от десяти до двадцати пяти лет лагерей. Но почему «террор», удивился я. За настоящий террор в условиях войны давали вышку. Мы разговорились, и напарник поведал мне свою, довольно банальную историю. Однако в ней была одна деталь, которая не укладывалась в привычный стереотип.

Семья Ломши с незапамятных времен жила в одном из богатых сел Курской области, почти на границе с Украиной.

Отец его — потомственный крестьянин, прошел всю первую мировую войну, еще на фронте в 1917 году познакомился с социал-демократами и примкнул к большевикам. Он провоевал всю гражданскую войну, а после ее окончания занялся крестьянским трудом. Грамотный, работающий, физически сильный, имея к тому же двух сыновей-помощников, он создал прочное, основанное на разумной агротехнике хозяйство, и губернские власти ставили его всем в пример как образцового хлебороба.

Началась коллективизация, и семья Ломши испытала судьбу сотен тысяч других крестьянских семей. Сосед, бездельник и пьяница, раньше во время уборки урожая работавший батраком, теперь делал общественную карьеру и стал одним из представителей местной власти. Он включил семью Ломши в список лиц, подлежащих раскулачиванию и высылке. В числе многих других ее вывезли куда-то на север. Сильный телом и духом отец Ломши и здесь не пропал, семья постепенно отстроилась и кое-как зажила. Ломша женился, пошли дети.

Но вот грянула война, Ломшу призвали в армию, он был ранен. После госпиталя попал в запасной полк, причем оказался в роте, старшина которой грубо обходился с солдатами и даже занимался рукоприкладством. Часть отправили на фронт, и во время первого боя старшина был убит. Возникло подозрение, что в старшину стрелял кто-то из своих. Вокруг было много солдат, но оперуполномоченный придрался именно к Ломше как к сыну раскулаченного.

Ломше грозила вышка. Но тут выяснилась одна дополнительная деталь: Ломша во время боя находился в боевых порядках впереди старшины, что было установлено показаниями многих свидетелей, и если даже старшина на самом деле был убит своими выстрелом в затылок, как это стремился доказать карьерист-особист, Ломша к этому не мог быть причастен. Казалось бы, следовало ожидать оправдания, но не тут-то было. Трибунал осудил Ломшу по пятидесяти восьмой статье «за террор», но через «девятнадцать», то есть за «террористические намерения». С этой статьей Ломша и оказался в лагере.

Мы подружились. Это был умный и деликатный человек. Часами он рассказывал об отце, о жизни в деревне и на севере, о жене и детях, которых не видел с начала войны.

Говоря о своем деле, лагерники часто бессознательно, а иногда и умышленно о чем-то умалчивают, а что-то искажают. В данном случае все, что мне рассказывал Ломша, было чистой правдой. Как-то раз он подошел ко мне и, немного смущаясь, попросил помочь ему написать жалобу.

— У тебя, Моисеич, легкая рука,— сказал он.

Я не юрист, в законах не разбираюсь и с уголовным кодексом никогда дела не имел. Славу хорошего стряпчего схлопотал себе в бригаде совершенно случайно. Как-то меня попросил написать жалобу старик бухгалтер из Архангельска, получивший вместе с заместителем директора завода двадцать лет за какую-то производственную или хозяйственную комбинацию, лично ему не приносившую никаких выгод. Жалоба, видимо, возымела какое-то действие, и старика этапировали в Архангельск для пересмотра дела. В другой раз с просьбой помочь составить жалобу ко мне обратился один инженер, получивший срок «за халатность» из-за того, что во время промывки прибывшей на завод цистерны со спиртом рабочий, в нарушение всех правил, залез в цистерну и задохнулся в ней. По моей жалобе инженеру переквалифицировали статью, и вскоре он освободился.

Мы, лагерники, до 1953 года не слышали, чтобы кого-либо из осужденных по пятьдесят восьмой статье освободили как невиновного, амнистировали или помиловали. Было лишь два-три случая, когда срок заключения был снижен или пункты статьи изменены. Я никогда не забуду, как однажды, когда нас гнали с работы в зону, мы увидели перед вахтой женский этап, направляемый в карантин, и мой друг, киносценарист Иван Андреевич Бондин, шедший в колонне в следующей за мной шеренге, вдруг с изумлением произнес: «Да ведь это Окуневская!» Действительно, в первой шеренге этапной колонны стояла красивая женщина, в которой мы узнали известную киноактрису. Незадолго до этого ей снизили срок с 25 до 10 лет и прислали в наш лагерь.

Я принялся сочинять Ломше жалобу без всякой надежды на успех, с единственной целью его не обидеть. Однако все аргументы, какие только можно было использовать в защиту осужденного, я привел.

Но случилось чудо. Примерно месяцев через пять Ломшу вызвали в управление и сообщили о решении военной прокуратуры. Обвинения в измене родине и терроре с Ломши

были сняты и заменены банальной статьей пятьдесят восемь, пункт десять (антисоветская агитация), которую пихали кому ни попадя за любой, самый невинный разговор, а пятнадцатилетний срок был заменен десятилетним, уже отсиженным. Видимо, следователь перестарался. Ломша не был в плену, и не было основания обвинять его в измене даже с учетом юридической практики того времени. Да и «террор» как-то не получался. Ломша был счастлив, все его поздравляли со скорым освобождением. Однако проходили дни, а Ломшу не освобождали. Я посоветовал ему написать жалобу прокурору. Ломшу вызвали, и он возвратился совершенно убитый. Не так-то просто было распрощаться с лагерной Немезидой.

Оказалось, что примерно года за два до описанных мною событий Ломша работал в лесу возчиком. Бревна вывозились на саних с конной тягой, причем возчики, в основном мелкие уголовники, обращались с животными варварски. Поскольку работа учитывалась по объему доставленного на биржу леса, они нагружали на сани больше бревен, чем несчастные животные были в состоянии вытянуть, и нещадно их били, заставляя тащить непосильную кладь. Привыкший к лошадам с детства, Ломша относился к своей «коняге», как он ее называл, совсем иначе. Он не бил ее и всякий раз, как представлялась возможность, старался подкормить, так что лошадь была у него всегда в полном порядке. В результате он вывозил на ней леса больше, чем другие.

Как-то Ломша разжился где-то торбой с кормовым зерном для лошади. Это увидел вольный десятник и написал соответствующую докладную. Прокурор возбудил уголовное дело, состоялся суд, в два дня Ломша был «оформлен» и получил новый срок в три года «за хищение социалистической собственности». Об этом он со своим пятнадцатилетним сроком, конечно, тут же забыл, тем более что новый суд казался ему полной нелепостью. И вот теперь выяснилось, что на нем висят эти три года.

— По пятьдесят восьмой статье ты отсидел,— сказал ему, радостно осклабившись, капитан в спецчасти,— а вот три года по указу еще не досидел.

Таким образом, Ломше оставалось отбывать еще более года.

Ломша был в неистовстве, хотел прекратить работу и объявить голодовку, словом, был в таком состоянии, что мог

совершить все что угодно и схлопотать новый срок. Времена были суровые. Я буквально насильно заставил его выйти на работу и вместе с бригадиром стерег его и опекал, пока он немного не успокоился.

В начале 1953 года в Москве было объявлено о деле «врачей-отравителей», и в лагере, как и на воле, сложилась напряженная обстановка. Ходили слухи о намеченном этапировании заключенных-евреев в особые лагеря на Дальнем Севере. Не дожидаясь каких-либо новых инструкций (впрочем, может, такие инструкции и были), лагерная администрация «реагировала» и принимала меры. Исполнявших инженерно-технические функции или занимавших «придурочные» должности евреев спешно переводили на общие работы. Мой приятель был снят с «высокого поста» нормировщика и отправлен на работу в лесоцех.

Уголовники, которых мало волновали политические проблемы, к сообщению об «убийцах в белых халатах» отнеслись довольно равнодушно. Воры в законе, как правило, космополиты, среди них встречаются выходцы из всех национальностей. Ведя при всяких режимах постоянную войну с обществом, они в первую очередь ценят верность своей профессиональной корпорации, и особого антисемитизма в их среде я не замечал. В нашем лагере старый блатной по кличке «Максимка-жидок» пользовался у них большим авторитетом.

В большей мере были заражены вирусом ненависти так называемые бытовики, люди, сидевшие за хищения, финансовые махинации, ведомственные и подобные преступления. В своем миропонимании они ни в чем не отличались от живущих на воле обывателей. Весьма агрессивно в отношении евреев вели себя некоторые «политические» из числа тех, кто во время войны активно сотрудничал с немцами. Действия Сталина и его окружения ложились в их сознании на хорошо подготовленную почву и встречали у них полное сочувствие.

Повсюду велись антисемитские разговоры, иногда принимавшие самый неожиданный характер. «Врачей-отравителей» обвиняли в том, что они плохо сработали свое грязное дело. «Ух, уж эти жида,— говорил, заворачивая портянку на ногу, один мужичок-двадцатипятилетник, полицай при немцах,— не сумели потравить всех их там в Москве!» «Скоро жида всех отравят»,— вторил ему наперекор логике

его дружок, бывший писарь в немецкой управе в одном из городов на Украине.

Ломша был далек от больных для меня проблем, но интуитивно понимал трагизм происходящего и однажды, как бы вскользь, проявляя удивительный такт и душевную тонкость, сказал: «Не обращай внимания на всех этих стервцов. Они и собственных отца с матерью могут сгубить!» Такое отношение мне было особенно дорого, ибо даже некоторые вроде бы интеллигентные люди, может быть, в глубине души мне и сочувствующие, старались держаться от меня и других евреев подальше, чтобы не скомпрометировать себя и не оказаться в глазах обитателей барака причисленными к гонимому племени.

— Ты не боишься общаться с евреем? — как-то полушуточно-полусерьезно, но не без горечи спросил я Ломшу.

— Что ты, Моисеич,— просто, как само собой разумеющееся, без тени рисовки сказал Ломша,— ведь я — верующий христианин.

Особенно активным в антисемитских разговорах в нашем бараке был некий Борис Иванович, или просто Борька, как его все звали, человек лет шестидесяти, но еще довольно крепкий, по должности бухгалтер. В прошлом он был каким-то партийным работником, а при немцах сотрудничал в харьковской немецкой газетенке. Придя в барак, он до позднего вечера как одержимый вел все время соответствующие разговоры, что доставляло мне в нашей и без того трудной жизни дополнительные страдания. «Наконец-то в Москве поняли, что от жидов все зло!» — вопил он. Адресуясь к одному из обитателей барака, он, кривляясь, кричал: «Лёвеле! Что-то твои левочки в Москве крепко провинились! Скоро мы всех левочек переведем на мыло!»

Я обратил внимание на то, что Ломша уже давно как-то особенно внимательно и даже настороженно наблюдает за Борькой. Он прислушивался к тому, что тот говорил, и как будто старался что-то вспомнить. Однажды Борька, как всегда, собрав вокруг себя слушателей, разглагольствовал на излюбленную тему и случайно упомянул какой-то районный центр под Белгородом.

— А ты что же, жил там? — живо заинтересовался Ломша.

— Работал там когда-то,— нехотя ответил тот.

— Ну да, я наконец вспомнил, где тебя видел,— тихо, как бы сквозь зубы процедил Ломша,— зимой тридцатого, когда нашу семью высылали из деревни как кулаков. Ты был главным в отряде милиции. Ходил по домам. Нам и всего-то три часа дали на сборы!

— Ну, было, такой приказ был,— в замешательстве, несколько растерявшись, забормотал Боряка.

— Хорошо помню,— наседа Ломша,— у матери в хозяйстве большой нож был. Ты еще протокол стал писать, что обнаружил у кулака холодное оружие. Да помощник твой тебя на смех поднял. Стали мы одеваться — нет отцовского полушубка. А потом, когда повезли нас на станцию, я видел, как ты щеголял в нем по улице. Теперь я все вспомнил. Вот ведь как довелось встретиться!

Десяток настороженных, внимательных глаз обратилось к Боряке. Тот как-то посерел, съежился и стал испуганно оглядываться.

— Приказали из центра, вот и ездили по деревням, я ведь партийный был,— стараясь скрыть смущение и испуг, нутужно проговорил Боряка.— А полушубка никакого я не брал, какой еще полушубок.

— Да-а-а, дела,— сказал кто-то из присутствующих.

Все замолчали. Больше Боряка о евреях не говорил.

Вечером я спросил у Ломши:

— А что, этот Боряка действительно вашу семью раскулачивал? Неужели такое совпадение?

Лицо Ломши приняло веселое, чуть с хитринкой выражение.

— Нет, конечно. Я с этим гадом на пересылке был и сюда в 1945 году одним этапом прибыл. Не сразу только об этом вспомнил, сколько лет прошло. Он все жалобу сочинял, просил пересмотреть его дело и с одним заключенным из бывших начальников советовался. Он ему рассказывал, что под Белгородом раскулачиванием занимался и каким-то спецотрядом командовал. Думал через это получить послабление. Я рядом на нарах лежал, все слышал. С его же слов я все и сказал. Попал в точку. А вообще-то все они были на одно лицо, шпана, словом. Тот, который нас высылал, очень на Боряку похож был, и полушубок упер, и акт о холодном оружии сочинить пытался. Все правда.

ФРИШКА

Словом «придурок» в лагере обычно именуют человека, который сумел избежать тяжелой физической работы и пристроиться где-либо во внутрилагерной или производственной службе в качестве счетовода, учетчика, статистика, нормировщика, нарядчика, заведующего баней, каптеркой, карантинном, ларьком и т.п. и, таким образом, получить возможность трудиться в тепле и не слишком тяжело.

По общераспространенному убеждению работяг, такой заключенный придуривается, т.е. делает вид, будто трудится, а на самом деле кантуется, тянет свой срок, не растрачивая силы и не укорачивая себе жизнь.

Отношение работяг к придурку двойственное. В нем сочетаются неприязнь (дескать, пролез на тепленькое местечко и помогает начальникам угнетать зека) и зависть, а порой и восхищение (ведь вот как сумел хитрый пронира устроиться). Само понятие «придурок» могло возникнуть только в условиях подневольного труда среди людей, не понимающих или вообще мало ценящих всякую сколько-нибудь квалифицированную умственную деятельность. В результате в число ненавистных придурков наравне с разными ловкими, угодными администрации подонками зачисляются люди общественно полезные, такие, как врачи или инженеры.

Но возможна и другая попытка выявить этимологию этого стихийно возникшего в лагере термина: придурок — человек, состоящий при дураке. В этом случае для понимания термина необходимо специальное разъяснение.

Исправительно-трудовой лагерь, как его официально именуют, так же как и всякое советское учреждение или предприятие, располагает несоразмерно разбухшим бюрократическим аппаратом. Кроме режимно-охранных должностей — вольнонаемных надзирателей (обычно из добровольцев-сверхсрочников), оперуполномоченных, сотрудников политотдела и культурно-воспитательной части существует еще множество других в лагерном управлении, в каждой зоне и на производстве — работники бухгалтерий и плановых отделов, начальники заводских цехов, инженерно-технический состав, всевозможные бракеры и контролеры, работники на строительстве железнодорожной ветки, вольнонаемные лагерные врачи и т.д. Некоторые из них

попали в лагерь после окончания институтов по распределению, другие родились и выросли близ лагеря, начали свой путь с надзирателей и охранников и постепенно поднялись по бюрократической лестнице, третьи отбыли здесь свой срок и остались в качестве вольнонаемных, опасаясь, уехав, снова угодить повторниками в заключение или же оценив выгоду работы в составе лагерной администрации. Часто начальники разного уровня устраивали своих жен, дочерей и других родственников на различные фиктивные должности для пополнения семейного бюджета.

Лагерь оказывал отрицательное воздействие не только на заключенных, но и на вольнонаемных, живущих за их счет. Под влиянием околалагерной среды с ее вечными пьянками, драками, жульничеством и ощущением полной безнаказанности вольняшки часто теряли человеческий облик. Они привыкали к тому, что под их началом находятся покорные, безответные рабы, над жизнью и смертью которых они полностью властны, и что эта власть прочно охраняется всей государственной карательной машиной. Только немногие из них работали добросовестно. Каждый вольняшка старался обзавестись помощником из числа зека, который выполнял бы за него работу. Такой зека-придурок также был доволен, ибо положение «при дураке» избавляло его от физической работы. В результате возникло множество придурочных должностей, за которые расплачивался работающий контингент. Вольнонаемные начальники работать не только не хотели, но, разучившись, уже и не могли. Так образовалась категория лагерных придурков, людей, состоявших на службе при ленивом, хитром, а иногда и злобном чиновнике и исполнявших за него работу.

В первый год лагерной жизни мне пришлось много физически работать на лесопильном заводе. Особенно мне досталось в зиму 1949/1950 годов, когда я по одиннадцать часов в смену работал на сортировочном бассейне в сорокоградусный мороз и, придя в зону, не раздеваясь, валился на нары и отогревался в барачной духоте не менее чем часа два. Помню, как в новогоднюю ночь нас продержали на работе до полуночи, то есть семнадцать часов, ибо завод не выполнял годовой план, а пожаловавший поздно вечером на завод пьяный начальник ОЛПа материл нас за то, что, по его мнению, мы медленно работали.

Однажды я разговорился с каким-то парнем, случайным соседом по бараку, бытовиком из-под Вологды, и он, почему-то проникшись ко мне симпатией, сказал:

— А почему бы тебе не поступить к нам на курсы бракеров?

Вечером я зашел в помещение КВЧ и увидел там десяток зека, а с ними пожилого человека, который показывал им чертежи и диаграммы и рисовал на доске мелом схемы. Я понял, что это и есть курсы бракеров. Занятия как раз кончились, и я разговорился с преподавателем. Им оказался бывший зека, в прошлом москвич, сидевший с 1937 года, а ныне пенсионер, подрабатывавший на курсах. Это был знаток леса высшей квалификации, когда-то преподававший в московских и ленинградских институтах.

— Я не могу взять вас на курсы,— сказал он,— мы берем сюда только «друзей народа» — воров, бандитов и насильников, но я дам вам книжку, а в конце занятий приму экзамен и напишу свидетельство об окончании курсов, а там уж плывите сами по лагерной жизни, как сумеете.

Так я и сделал. Дважды прочитав книжку, я сдал экзамен на «отлично» и получил справку, которую отнес знакомому экономисту на заводе, старому лагернику Х. Размахивая этой справкой, приятель сумел протащить меня бракером на лесобиржу. Разумеется, моих книжных знаний для выполнения обязанностей бракера было мало, но по ходу пьесы я овладел специальностью и работал не хуже, чем другие.

Приход на лесобиржу вольняшки в качестве заведующего меня не слишком огорчил. Бывший заведующий, заключенный, сидевший за какие-то ведомственные махинации, вечно боялся попасть в немилость у начальства и лез из кожи, чтобы всем угодить. В результате нам постоянно приходилось загружать по его приказу пиломатериалами машины для лагерной obsługi, пилить и колоть для начальников дрова и делать все это в единственный тридцатиминутный перерыв при одиннадцатичасовом рабочем дне. Однажды он, желая выслужиться, нагрузил надзирателю машину дров без соответствующего документа, после чего по доносу вольнонаемного бухгалтера его отправили куда-то на лесоповальный ОЛП.

Новый вольный заведующий, Африкан Николаевич, которого в бригаде с первого же дня стали именовать Фришкой,

был коренным жителем Архангельской области. Образования у него никакого не было, по-видимому, не было и больших связей, и его определили на низкооплачиваемую должность к нам на лесобиржу. Это был человек лет сорока, невысокого роста и не слишком крепкого телосложения. Как и все сельские жители Архангельской области, он хорошо разбирался в пиломатериалах. Был он человеком неглупым и, как все северяне, широкой души и не злым. По всякому поводу он готов был полезть в драку, но через минуту полностью отходил и зла не помнил. Ко мне он с первого же дня проникся симпатией, заявив однажды:

— Бракер ты хреновый, в лесу мало что согласишь, как все вы там, москвичи, но парень честный, не подведешь, на тебя можно положиться, а в наше время — это главное! А они все кто? Ворье! — говорил Фришка, тыкая пальцем в сторону сидящего тут же бригадира. — За ними смотри да смотри, а то подведут под монастырь!

Мне Фришка полностью доверял и частенько вел со мной откровенные разговоры, в частности о сыне, который учился в Ленинграде в техникуме и о судьбе которого Фришка очень беспокоился. Он советовался со мной, оставить ли сына после учебы в Ленинграде или забрать к себе.

— Разбалуется парень без родителей, — говорил он, — угодит в лагерь, а мы-то с тобой знаем, что это такое!

Бюджет Фришки поддерживался охотой и рыбной ловлей, без этих занятий на одном лишь жалованье ему бы не прожить. Как-то зашел разговор об охоте, на которую Фришка отправлялся на другой день, и он сообщил, что уже заготовил пять патронов.

— А что ж так мало? — спросил я.

— Да мне больше пяти зайцев до дому не донести, тяжело будет, — ответил Фришка без тени рисовки.

Я был поражен.

— А если промахнешься?

— Ну, пожалуй, возьму еще патрон, — как-то неуверенно ответил охотник.

Фришка был бы в жизни отличным охотником-промысловиком, но соблазн стать «гражданином начальником» и жить, не обременяя себя особыми трудами, оказался столь велик, что этот простой и от природы честный человек пошел на работу в лагерь. Он не был ни лентяем, ни стяжателем, каких среди вольнонаемного персонала было не-

мало, но само начальствование над безответными заключенными приучило его жить за счет чужого труда. Для порядка покричав в начале рабочего дня на работяг, сделав выволочку бригадиру, десятнику и бракеру и тем самым дав выход своему начальническому гонору, он минут через сорок начинал скучать, а через час вообще уходил с завода, дав ЦУ: «Смотрите вы у меня, чтобы все было в порядке!» Иногда его уходу предшествовал разговор по телефону с закадычным другом, также вольнонаемным, заведовавшим на лесопильном заводе шпалорезкой. Речь Фришки выглядела примерно так:

«Вась, а Вась! Может, пойдём! Слышь, Вась, пошли, что ли! Ну да, я же говорю, туда, туда! Ну так давай! Давай сразу же! Ну хорошо, значит, пошли! Вась, а Вась...» — и так далее.

Закончив переговоры, Фришка отправлялся в «Решето», местное питейное заведение, обрамленное набитым крест-накрест штакетником, откуда и пошло его наименование. Мы уж знали, что не увидим своего начальника дня два, а то и три.

Один эпизод отлично иллюстрирует особенности трудового процесса в условиях лагеря, а может быть, и не только лагеря. Лесоцех пилил доски, предназначавшиеся для вагоностроительного завода. Бригада спешно готовила пиломатериал к погрузке. Увидев, что Фришка наострил лыжи, дабы отправиться в свой обычный поход, и получив телефонограмму, что нам ставят сорок вагонов, я спросил, будем ли грузить их.

— Ну их на хер, не грузи! — последовал ответ.

— Но нам ставят вагоны, — растерянно сказал я.

— Я что, мать твою, сказал тебе, не грузить!

Дав указание, Фришка величественно удалился.

Часа через два вагоны были поставлены, и мы, следуя приказу начальника, отправили их порожними, за что завод должен был заплатить большой штраф.

На следующий день пришло сообщение, что железная дорога вновь присылает порожняк. Я позвонил Фришке домой, но тот, обматерив меня, пьяным голосом предупредил, что если мы будем без его приказа грузить вагоны, он спустит с нас шкуру. Мы выполнили указание Фришки, и завод снова заплатил огромный штраф.

Между тем работать на лесобирже стало совершенно невозможно. Вся территория биржи, равно как и все автолесовозные дороги, была забита потоком непрерывно льющегося из лесосоха пиломатериала. Мы выбились из сил, перекладывая доски, чтобы обеспечить лесовозам хоть какие-то пути. Штабелевать доски также было невозможно, так как все подъезды к штабелям были забиты, да и не имело смысла, ибо ожидалась погрузка. Наступила полная закупорка, лесовозы не могли более убирать с сортплощадки пиломатериалы, и доски не сортировались, а просто скидывались на дорогу. Матерились все: лесовозники, начальники цехов, а в конце дня и начальник завода. Мы все на лесобирже измучились до предела. Ночью на погрузплощадку снова прибыли вагоны и вновь ушли без груза. Штраф железной дороге измерялся уже многими тысячами рублей.

Наконец на четвертый день на лесобирже появился Фришка. У него был сильно помятый вид и над глазом светился огромный фонарь. Видно, на этот раз встреча с дружкой мирно не закончилась.

— Как быть с отгрузкой? — спросил я, размахивая руками, покрытыми кровавыми ссадинами от непрерывной многодневной перекладки досок.

— Хер с ним, грузите! — последовал ответ.

Лучшие умы лесозавода пытались понять, что заставило Фришку навесить на завод огромный штраф и изнурить бессмысленной работой заключенных многих бригад. Мы бы никогда не сумели разгадать загадку, если бы не воришка Петька, понимавший психологию нашего начальника лучше нас.

— Да дело-то простое, — сказал он, — года два назад сюда приезжал приемщик пиломатериалов с вагоностроительного завода. Фришка ждал, что гость поднесет ему в «Решете» стакан, а тот, падло, пожалел денег, а может, у него их и не было. Не то чтобы нашему этот стакан был так уж нужен, но человек обиделся, что ему не сделали уважения, и решил их завод наказать. Вот мы и ишачили четверо суток!

Нам оставалось лишь восхищаться проницательностью нашего молодого лагерного коллеги.

СТАРЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ

Рядом с курилкой лесобиржи находилась небольшая конторка строительной бригады, которую возглавлял человек лет шестидесяти пяти, инженер Евгений Иосифович Войнилович. Бригада состояла в основном из «западников», то есть жителей бывшей Польши, в большинстве своем крестьян. Это был народ положительный и аккуратный, с еще сохранившимися навыками добросовестной и честной работы, трудились они не спеша, но основательно, выполняя всевозможные строительные и ремонтные работы на заводе.

Войнилович был потомственный петербургский интеллигент польско-русского происхождения. Свою тюремную карьеру он начал еще в конце 20-х годов, и лагерный стаж его исчислялся десятилетиями. Поводом для многочисленных арестов послужило то, что где-то к концу первой мировой войны он поступил в юнкерское училище вольноопределяющимся и вышел из него прапорщиком. В качестве бывшего офицера он постоянно подвергался преследованиям: сперва попал в тюрьму и был выслан, по окончании ссылки некоторое время работал на воле, затем снова был арестован и, отбыв в лагере первый срок, попал в Челябинск, где строил тракторный завод, а во время войны руководил его переоборудованием для производства танков. В третий раз в 1950 году арестовали не только его, но и его жену. Получив свою десятку за антисоветскую агитацию, Евгений Иосифович оказался в нашем лагере. Не без юмора он рассказывал, что главным его преступлением оказалась якобы сказанная им фраза о том, что финская кампания 1940 года напоминает ему цусимское поражение. Следователи именовали его чуждым элементом и белогвардейцем, а его работу на строительстве Челябинского завода, за которую он получил орден, трактовали как своеобразную маскировку.

В какой-то мере судьба семьи Войниловича типична для нашей эпохи. Отец его погиб во время гражданской войны, отец жены сгинул в лагере. Мать жены попеременно ездила в лагерь то к дочери, то к нему. Я помню, как однажды, когда нас пригнали с работы, на ступеньках конторы у вахты сидела пожилая женщина. На лице ее не было той растерянности, которая обычно появлялась при виде колонны зека на лицах наших гостей, приезжавших навестить родных. Ей было привычно навещать в лагере то мужа, то дочь,

то зятя, и она, улыбаясь, приветливо помахала нам рукой.

Администрация завода относилась к Войниловичу с подозрением. Под влиянием постоянной пропаганды в сознании начальников сложился образ опасного инженера-вредителя, который может невесть что сотворить на заводе, того гляди поджечь или взорвать. Поэтому всякое его действие по инженерной части наталкивалось на настороженное отношение, а инициатива пугала. Однажды это чуть не вылилось в целое следствие.

На территории завода решили построить сушилку для пиломатериалов, предназначенных мебельному цеху. Поручили это бригаде Войниловича. Работяги довольно быстро воздвигли небольшое одноэтажное сооружение, оставалось покрыть его крышей, которую собрали отдельно и подняли наверх. Между крышей и стенами оставались зазоры. А дело было суровой архангельской зимой. Войнилович приказал работягам развести на полу стройки костер, чтобы отогреть крышу, которая промерзла и не входила в пазы, и, возвращаясь после обеденного перерыва на завод, начальник, лейтенант Пелевин, увидел густые клубы дыма, валившие из окон и дверей еще не вполне готового сооружения. Не разобравшись, в чем дело, он стал орать на Войниловича, обвиняя его в намерении сжечь сушилку. В воздухе стоял мат, на Войниловича сыпались брань и угрозы.

Тщетно пытался Войнилович объяснить Пелевину резоны своих действий, тот его и слушать не хотел и в раже кинулся на вахту за надзирателями. Но пока начальник суетился, Войнилович продолжал делать свое дело. Разогретая крыша встала на свое место, и костер был потушен. Тут прибежавший с надзирателем начальник завода с изумлением увидел, что все пришло в норму, а трудная с его точки зрения техническая задача по установке крыши успешно решена. К чести его следует сказать, что он осознал свою ошибку и даже похлопал Войниловича по плечу в знак примирения. С тех пор администрация стала испытывать к Войниловичу особое уважение. «Старый спец,— говорили начальники,— из бывших»,— видимо, подразумевая, что старые «вредители» работают лучше новых недоучек.

— Идиоты,— говорил мне вечером Войнилович,— Пелевин окончил, хотя бы формально, Лесной институт в Ленинграде. С подобной технической задачей знакомят студентов первого курса любого строительного техникума. Ну,

чему-то же его учили!

В конторе лесобиржи один зека-умелец соорудил из отрезанной где-то телефонной трубки нечто вроде еле слышного громкоговорителя, и я, занимаясь всякой технической работой бракера-десятника, имел возможность слушать радио. И вот однажды прозвучало сообщение о болезни Сталина. Я отправился в контору Войниловича и ему все рассказал. Войнилович перекрестился: «Царствие ему небесное». — «Да нет,— сказал я,— он не помер, заболел» — «Нет, нет, голубчик, помер,— ответил Войнилович.— Кровавая эпоха кончилась, будем надеяться на лучшее». Интуиция старого зека подсказала ему, что тирана больше нет.

Войнилович отличался удивительным самообладанием, спокойствием и выдержкой. Он умел устроить свой скромный быт, всегда был чисто выбрит и аккуратно одет. На грубости и окрики начальства он не обращал никакого внимания, к тому же ему никогда не изменяло чувство юмора.

В дальнем углу жилой зоны возвышался двухэтажный барак, в котором жили лагерные придурки: работавшие в службе заключенные и инженерно-технический состав завода. Там на втором этаже обитал и Войнилович. Как-то летом я пришел в свободный от работы день навестить живших в этом бараке друзей. В углу второго этажа была дверь, за которой имелся небольшой выступ из досок. С этого своеобразного балкона без перил открывался вид на запретку, а через нее — на небольшую рощу из молодых деревьев, образовавшуюся на месте вырубленного леса. В этот день за зоной у запретки работала бригада женщин-заключенных, рывших для чего-то канавы.

Слух о том, что женская бригада работает рядом с зоной, быстро распространился среди заключенных, и вот рослый парень-блатнячок пожаловал в барак и вылез на деревянный выступ. Если только прав итальянский врач психиатр Чезаре Ломброзо, доказывавший, что существует преступный тип человека со специфическим физическим обликом, то можно считать, что блатнячок выскочил из его альбома. Маленький узкий лоб наполовину зарос нависавшими на глаза волосами, глубоко упрятанные в глазные впадины маленькие хитрые глазки все время бегали, озираясь по сторонам, огромная квадратная челюсть занимала большую часть лица, а острый подбородок как-то особенно подчеркнуто выдавался вперед. Передвигался он также не совсем по-человечески, согнув-

шлись и какими-то странными рывками, напоминавшими повадки гориллы.

К тому же и одет он был весьма живописно в широкую, навывпуск, ядовито малинового цвета рубашу и модные брюки странного фасона, которые обтягивали колени и расширялись кверху. Несмотря на летнее время, на голове у него была лихо заломленная кубанка. Но главным его украшением была огромная стеклянная бляха зеленого цвета, свисавшая с шеи на цепочке. Словом, он имел вид настоящего дикаря.

Появление такого красавца на балконе, естественно, не могло не произвести впечатления на женщин. Прекратив работу и собравшись в кучку, они принялись обсуждать представшее перед ними зрелище и обмениваться впечатлениями.

Начало диалога положил сам блатнячок.

— Молодая красивая, — закричал он зычным, со специфическими лагерными интонациями голосом, — воздвигнись над забором, я хочу с тобой познакомиться вплоть до половых сношений!

Заявление парня было встречено женщинами, как сказали бы дипломаты, с полным пониманием. В ответ посыпались всевозможные непристойные шуточки, в которых наш герой сравнивался с животными разных пород и видов, ему приписывались противоестественные склонности и выражались сомнения в его мужских достоинствах.

Критические замечания дам парня ничуть не смутили, и он, видимо, глубоко убежденный в своей неотразимости, все более настойчиво и прямолинейно высказывал свои пожелания.

Движимый любопытством, я не удержался и тоже вылез на балкон. Мое появление придало новый импульс женскому словотворчеству. Теперь посыпались шуточки уже в мой адрес. Меня приглашали на любовное свидание.

— Эй, — кричала одна бойкая девица, — фрей с гандонной фабрики, лезь через забор, подоженимся!

Я не знаю, что тут со мной случилось. То ли погода была хорошая и меня подогрело солнце, то ли меня увлекло неожиданное в тоскливой и однообразной лагерной жизни развлечение, но меня охватила какая-то странная радость. Куда-то ушло привычное представление о приличии, и я включился в веселый карнавал, наслаждаясь им одновре-

менно и как участник, и как зритель. Влекомый каким-то вихрем, слабо контролируя свое поведение, я вступил в диалог-перебранку со стоящей за запреткой девицей, отвечая на каждую ее реплику. Да и девица охотно переключилась на меня, разглядев на балконе веселого фрайера, готового развлечь ее занятым разговором. Интересно, что и она явно воспринимала происходящее, как веселый балаган, интуитивно угадывая, что я в нем играю не свойственную мне в жизни роль. Это придавало в ее глазах всей ситуации еще большую пикантность.

Я получил целую серию, хотя и сформулированных не вполне изысканно, но тем не менее весьма лестных предложений.

— Красюк, у тебя что, не стоит? — кричала девица. — Лезь скорее сюда!

— Да как же я, милая, до тебя доберусь?

— А ты попку не бойся, он спит там на своем бугре!

— А потом я ведь не красюк.

Видимо, моя скромность, которая, как известно, паче гордости, моей собеседнице и другим девицам пришлось особенно по вкусу. Последовал еще ряд лишь частично лестных для моей внешности замечаний.

— Не робей, мужик! Ты хоть и не красюк, но симпатяга. А симпатия дерет красоту! Так-то на вид ты парень в соку, по румпелю видно!

Теперь уж и мое сердце дрогнуло. Замечание дамы я не мог оставить без ответа и окончательно включился в беседу.

— Ты небось из придурни? — не унималась бойкая девица.

— Из придурков, милая, из придурков! — стараясь повысить свои акции и заслужить благосклонность девицы, орал я.

— Он, падло, верно, на блатной работенке кантуется, — оценила мою деятельность в лагере другая девица, — печенье перебирает, в швейцарском сыре дырки пальцем делает.

— Может, и еще где дырки делает, — хихикнула третья девица.

— Помолчите, срамницы, — заметила явно не очень довольная вмешательством в разговор развязных товарок моя главная собеседница, — он мужик занятный, не портите интеллигентного толковища.

Во время всего диалога Войнилович лежал в углу барака на нарах и читал. Дверь на балкон была открыта. Услышав нашу беседу, он отложил книжку и сказал:

— Фильштинский, с кем вы там кокетничаете?

В бараке уже давно все прислушивались к моей беседе с женщинами, и замечание Войниловича произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Макароническое включение в диалог слов из другого культурного и стилистического ряда, гротескное сочетание несочетаемого вернуло слушателей к действительности. Появилась возможность посмотреть на себя со стороны и особенно остро ощутить трагедийность нашего бытия. Это пробуждение вызвало пароксизм истерического смеха. На какую-то минуту был забыт лагерь со всеми его тягостями и нелепостями. Смеялись все, и политические, и уголовники, и старые, и молодые, и образованные, и малограмотные. Даже стоявший рядом со мной в малиновой рубашке блатнячок ухмыльнулся. Женщины еще что-то кричали, но за хохотом их не было слышно. Как-то вдруг всем вспомнилось, что существует другая жизнь и другие человеческие отношения. Реплика Войниловича вырвала нас из мира патологического и фантастического, через этот безудержный смех мы ощутили катарсис и на время вернули себе облик нормальных и свободных людей.

СОВРАТИТЕЛЬ

Новым учетчиком в лесоцехе был москвич Сурков — молодой человек лет двадцати восьми с благообразной внешностью и пристойными манерами. В первый же день его пребывания на заводе мы познакомились. Настораживало лишь то, что в отличие от других зека, по прибытии в лагерь обычно направляемых на общие работы, он сразу же был назначен на придурочную должность, хотя до ареста никаких специальных знаний по лесопромышленному делу не получил. Вскоре все разъяснилось. Сурков охотно всем рассказывал о причинах своего ареста.

Надо сказать, что бывшие работники МГБ, МВД и прокуратуры всегда находились в лагере на особом положении. Следствие по их делам обычно вело Министерство государственной безопасности, а приговор им выносил не суд, а, как нашему брату политику, Особое совещание. Как правило, они сидели в лагере по бытовым статьям: за финан-

совые махинации или за различного рода служебные нарушения, и рассматривались лагерной администрацией как свои люди, согрешившие, но не враждебные государственному строю, словом — не «враги народа». Их всячески опекал оперуполномоченный, благодаря чему они получали более легкие работы и другие льготы. Лагерные начальники хорошо понимали, что и сами не безгрешны и в любой момент могут загреметь в тюрьму, что случалось довольно часто.

Сурков то ли по глупости, то ли от сознания своей полной безнаказанности довольно откровенно и цинично рассказывал о былой деятельности, невольно выдавая государственные тайны. Он работал в Москве, в районном отделении МГБ и заведовал агентурой. Под его началом находилось некоторое число секретных сотрудников, попросту говоря, стукачей, от которых он собирал информацию о разговорах и настроениях рабочих и служащих предприятий и учреждений своего района. Деятельность сексотов оплачивалась, и в обязанности Суркова входило также составление денежных ведомостей. С ведома начальства, которое также имело навар от этих махинаций, он заставлял своих подопечных расписываться в получении предназначенной каждому из них mzды, а выдавал им сумму меньшую, оставляя часть денег себе. Дело это было секретное, и до поры до времени обманутые молчали. Но случилось так, что, как говорил Сурков, «одна блядь, которая спала с кем ни попадя», спуталась с сотрудником МГБ из Особой инспекции, то есть отдела, наблюдавшего за деятельностью секретного ведомства. Женщина все рассказала своему партнеру, началось следствие, несколько человек из отделения были арестованы, и все получили по десятке.

Любопытно, что, повествуя о своем деле, Сурков все еще ощущал себя причастным к работе ведомства.

— Я смотрю,— рассказывал он,— дурак следовательно собирает моих людей, грузит их всех вместе в автобус и везет на очную ставку. Я ему говорю: «Ты что, сумасшедший, правил не знаешь? Ты ж их всех закладываешь!» А он только смеется: «Это теперь не твоя забота!»

В другой раз Сурков говорил:

— А ведь какая была житуха! Утром приходим на работу и давай травить анекдоты, кто что слышал и знает. Только и раздается в комнате «ха-ха-ха» да «ха-ха-ха». Так

до обеда. Ну, а по вечерам, конечно, за работу!

— Тебе что ж, и стукачей вербовать приходилось? — спросил как-то я.

— Ну не без этого, везде нужны свои люди.

— И соглашались?

— А куда денутся? Один упирается, пригрозил же ему и предъявил компромат. Всякий что-либо не то сказал или сделал. Святых ведь не бывает! Скажешь: «Ты что ж, не советский человек, разведке советской помогать не хочешь? А мы, между прочим, о тебе вон какую информацию имеем и запросто посадить можем! И отца и жену заметем!» Покрутится, покрутится и даст подписку с нами связь держать. А иному посулишь тепленькое местечко на работе или там повышение какое. Ну и денжат пообещаешь.

— Стало быть, ты из порядочных людей доносчиков делал, совращал?

— Да чего их совращать? Наши люди ведь так и норовят друг на друга донос написать. Одно ведь сволочь! А мы контролируем, чтоб не ввали!

— Ну и многих ты посадил через своих агентов?

На этот вопрос Сурков предпочел не отвечать, знал, что в лагере могут и пришить.

Надзор делал Суркову всяческие послабления. Я помню, как однажды я был потрясен, когда, зайдя в инструменталку лесобиржи, обнаружил там Суркова, закусывавшего и выпивавшего с приехавшей к нему на свидание женой. Мы получали свидания с родственниками в специальном помещении на вахте на небольшое время, иногда на несколько часов. Сурков же сумел договориться, чтобы его жену пустили на завод, и провел с ней там целый день. Разумеется, ее никто не обыскивал, и она притащила мужу спиртное.

Завелись у Суркова и дружки. Как правило, это были, по выражению Суркова, «люди нашей системы». Все они как-то друг друга находили и друг друга понимали. Особенно сошелся Сурков с неким К., широкоплечим детиною высокого роста, с весьма респектабельной внешностью. Это был недоучившийся врач лет сорока, никогда не занимавшийся медицинской практикой. Он «умел жить». Его работа заключалась в том, что он обслуживал начальников, вывозя их на охоту, для чего специально держал собак. Был у него еще один, совершенно специфический промысел: он делал у себя на даче уколы высокопоставленным лицам, заболев-

шим сифилисом и желавшим сохранить болезнь в тайне.

К. работал на заводе учетчиком пиломатериалов, но когда стукнули морозы и ему больше не хотелось трудиться на улице, дружки решили помочь ему перебраться в контору. Для этого задумали интригу, распустили слух, будто один из работавших в конторе зека — стукач, которого следует опасаться. Сурков в этих делах хорошо разбирался, так что все было сделано довольно профессионально. Расчет был основан на том, что окружающие выживут оклеветанного из конторы, а оперуполномоченный за него не вступится, ибо это не его кадр. Бедняга пережил немало тяжелых минут, тем более что лагерники склонны к стукачам. Впрочем, никто из друзей в эту сплетню не поверил, а вскоре и его начальник, также заключенный, догадался о цели этого навета.

Сурков был не только мошенник, но и авантюрист. Скуки ради он решил завести любовную интрижку. В бухгалтерии завода работала счетоводом вольняшка, девушка лет девятнадцати. Это было доброе существо с горькой судьбой. Ее мать умерла, когда она была еще ребенком, отец женился, и в доме мачехи ей жилось несладко. Какой-то дальний родственник, занимавший скромную должность в управлении лагеря, сумел там договориться, забрал ее из районного центра, где она училась в школе, и устроил счетоводом на завод. Она была бесконечно счастлива, получив возможность жить самостоятельно на свой скромный заработок. Работавшие в бухгалтерии заключенные жалели ее и помогали овладеть новой для нее профессией.

Девушка она была добрая. Однажды, когда мой друг в зоне серьезно заболел и я ей об этом рассказал, она по собственной инициативе принесла мне для него несколько свежих яиц. Чтобы оценить этот поступок, надо учесть, что вольнонаемным запрещалось вступать в какие бы то ни было контакты с заключенными сверх тех, которые требовались по работе. Бог не наделил ее особенно красивой внешностью: она была худенькая, небольшого росточка, но с милым, немного комичным, кукольным личиком. Это было существо наивное и совершенно невинное.

Сурков считал ее подходящей для небольшого развлечения. Заключенных, вступавших в связь с вольными женщинами, сурово наказывали бурами и зурами (бараками и зонами усиленного режима). Но Сурков считал, что ему все сойдет

с рук. Он зачастил в контору завода, присаживался около девушки, поглядывал на нее влюбленными глазами, словом, пускал в ход весь несложный ассортимент приемов столичного ловеласа. Одинокая, не знавшая мужского внимания девушка попала на удочку. Однажды, когда Сурков работал в ночную смену, девушка после конца рабочего дня осталась на заводе, прокралась к нему в контору лесобиржи и провела там ночь. Уходя в зону, Сурков запер ее в конторе, в комнате заведующего биржей, чтобы ее не обнаружил какой-нибудь надзиратель, случайно зашедший в помещение.

Утром я, как обычно, вышел с бригадой на работу и сел оформлять погрузочные документы. Тут вдруг я услышал тихий, робкий голос, доносившийся из-за двери комнаты завбиржей:

— Фильштинский! Выпустите меня, пожалуйста!

Я отпер дверь, и девушка стремглав побежала в бухгалтерию завода.

Вечером в зоне я слышал, как Сурков распространялся:

— Лежит, стерва, как колода, не шевелится. Я ее уж и так, и сяк. Толку от нее грош.

Разумеется, связь Суркова с девушкой вскоре стала всем известна. Вычислить это было нетрудно. Надзор засек, что она не уходила с завода после конца рабочего дня и не проходила через вахту на следующий день. Да и сам Сурков щадить свою жертву не собирался и со смехом рассказывал о своей любовной победе. К тому же, по слухам, один работник бухгалтерии из заключенных написал на него донос. Гнев начальства обрушился не столько на Суркова, сколько на девушку, которую со скандалом уволили с работы. Родственник, у которого она жила, выгнал ее из дома, сочтя, что она позорит его семью. Жить ей было негде, денег у нее не было. Одинокая, обездоленная, потрясенная происшедшим, девушка пыталась покончить с собой, но ее откачали в местной больнице.

— А ты не боишься, что против тебя возбудят дело как против виновника попытки самоубийства? — как-то спросил я Суркова.

— Не привлекают, — злобно ответил Сурков, — она совершеннолетняя, знала, на что идет.

Сурков был сведущ в законах.

ПЕРПЕТУУМ-МОБИЛЕ

Подневольный труд развращает человека, приучает смотреть на работу как на тяжелую, ненавистную обязанность, развивает стремление любыми путями от работы увильнуть и для этого всячески хитрить и изворачиваться. Если же при этом в человеке есть авантюрно-игровая жилка, то его действия подчас носят абсурдный характер и никак не согласуются со здравым смыслом. На это толкает сама трагически нелепая лагерная обстановка. С одной из подобных ситуаций я столкнулся в первый год своего лагерного бытия.

Работа на сортировочном бассейне требовала от нашей небольшой бригады слаженности и активности, если кто-либо начинал филонить, за него приходилось вкалывать остальным. Поэтому новый работяга Вдовин постоянно вызывал нарекания. Это был довольно высокий, толстый человек, с крупным лицом, вздернутым, похожим на кнопку носом и маленькими, слегка косившими хитрыми глазками. На воле он работал где-то в Ростовской области шофером и отличался незаурядной физической силой. Однажды, отступив от своего правила работать с прохладцей, он подогнал к бревнотаскам огромный плот древесины размером почти в полбассейна. Видимо, был он непрочь поесть и постоянно хвастался, что на воле съедал за один присест килограмм мяса. Обычно, опершись на длинный багор, он по самым разным поводам пускался в долгие рассуждения, пока наш старший не возвращал его к действительности матерной бранью.

Сидел Вдовин, как выяснилось, за изнасилование. По его версии обвинение это было смехотворным. Он показывал мне документы по своему делу: обвинительное заключение и решение суда. Оказывается, он был знаком с какой-то женщиной много лет, часто бывал у нее дома и состоял с ней в связи. Однажды она поставила ему ультиматум: либо он на ней женится, либо она его упечет в тюрьму. Он слова эти всерьез не принял и продолжал ее навещать. Тогда она во время очередного свидания разыграла комедию: подняла страшный крик, призывая на помощь соседей, которые застали ее полуодетой, в разорванной рубашке, со следами побоев, синяками и ссадинами на теле. Рыдая, она утверждала, что Вдовин ее изнасиловал. Пришел участковый и

составил протокол. А как раз в это время вышел очередной указ или были изданы инструкции об усилении наказания за изнасилование. Вдовин попал под кампанию. Состоялся суд, соседи выступили свидетелями, и Вдовин был осужден. Было ли это на самом деле так, как он рассказывал, судить не берусь. Знаю только, что Вдовин непрерывно писал жалобы и требовал пересмотра дела.

Вдовин прилагал все старания, чтобы любым путем увильнуть от работы. Упрекать за это я бы его не стал — кому охота работать при подневольном труде. Однако в своеобразном саботаже он переходил всякую меру, охотно спихивая свою работу на других. Это был хитрец, хорошо понимавший, как можно использовать для своей цели невысокий интеллектуальный потенциал лагерного начальства. И вот он придумал совершенно оригинальный ход. Человек, не слишком образованный, но поднабравшийся разных случайных знаний и усвоивший не слишком богатый репертуар массовых эстрадных песен сталинского времени, он ни больше ни меньше как... придумал новый текст государственного гимна Советского Союза. Он объявил, что первые строки гимна «Союз нерушимый республик свободных сплотила на веки великая Русь» не отражают духа многонационального советского государства, и предложил другую редакцию. «Чайник», — решили мы, но, кажется, недооценили умственные способности этого человека.

Письмо с новым текстом гимна Вдовин адресовал в Комиссию законодательных предложений Верховного Совета. Как известно, при демократии на письма трудящихся следует незамедлительно отвечать. На послание Вдовина последовал ответ на официальном бланке Верховного Совета с надлежащими подписями. Вдовину сообщалось, что его предложение будет внимательно рассмотрено. Тогда Вдовин отправил новое письмо по тому же адресу с новым вариантом текста гимна и снова получил ответ. И так несколько раз. Словом, завязалась оживленная переписка. Вдовин показывал нам текст своего гимна: абсурдный набор клишированных выражений из популярных советских песен тех лет.

Письма заключенных проходят через лагерного цензора, и, разумеется, начальство было осведомлено о занятиях Вдовина. И вот однажды Вдовин собрал все полученные им из высокой инстанции письма, явился к начальнику ОЛПа и объявил, что он принимает участие в работе Верховного

Совета по составлению нового гимна, но тяжелая работа на сортировочном бассейне ограничивает его творческие возможности.

— Мне для работы над гимном нужно создать условия, — говорил он, — дело серьезное. А я пашу и пашу. Надо бы помочь!

Тут следует напомнить о том, что хитроумное начальство ГУЛАГа неоднократно издавало инструкции, обязывающие лагерную администрацию стимулировать полезные для государства научные и технические изыскания заключенных. Власти понимали, что в надежде на облегчение условий труда или даже на досрочное освобождение лагерники будут всячески стараться принести пользу и таким образом без больших затрат из них можно выжать ценные открытия и технические усовершенствования. Для этого, собственно, и шарашки были созданы. Цинизм этой инструкции ГУЛАГа никого, разумеется, не смущал. Лагерное начальство следовало среди прочих и этой инструкции. Не зная, как быть с заявлением Вдовина, оно решило на всякий случай удовлетворить его просьбу. Вдруг наверху решат принять текст Вдовина, тогда окажется, что оно «проглядело» такое важное для государства мероприятие! И Вдовину действительно поручили какую-то подсобную работу на заводе, на которой он несколько месяцев кантовался. Однако время шло, видимо, московским чиновникам надоело читать вздорные письма Вдовина, и переписка его с Верховным Советом иссякла. Над Вдовиным нависла угроза перевода на общие работы. Тогда изобретательный авантюрист придумал новый трюк.

Вывозка пиловочника из леса и вообще все транспортные работы осуществлялись в лагере машинами с газогенераторными двигателями. Экономился бензин. Горючим служили небольшие деревянные чурки. Работать на этих машинах было истинным мучением. При больших холодах машины не заводились, вечно глохли, а часто и вообще выходили из строя. И вот Вдовин выступил с рационализаторским предложением, которое должно было произвести целую революцию в автомобильной промышленности. Как бывший шофер и автомеханик с большим стажем работы, он авторитетно заявил, что знает способ, как сконструировать механизм, который обеспечит машину топливом, добываемым непосредственно... из воздуха. В самом деле, объяснял он, как казалось, весьма логично, в воздухе содержится кисло-

род, прекрасное горючее. Надо лишь научиться его извлекать, тогда можно будет сконструировать нечто вроде перпетуум-мобиле, вечного двигателя. Ведь кислорода в воздухе хоть отбавляй!

Я не могу сказать, поверило ли лагерное начальство в возможность подобного изобретения или нет. Скорее всего, оно просто старалось выполнить очередную инструкцию ГУЛАГа. В каждом лагере должны были быть свои изобретатели и рационализаторы, а в нашем лагере их как на грех не было. Следовало их завести. А потом, чем черт не шутит, вдруг у Вдовина что-то получится — ведь тогда и лагерное начальство огребет Сталинскую премию! Было принято решение создать Вдовину условия для работы. По лагерным понятиям это были царские условия. На территории завода ему была выделена кабина, в которой он собрал разнообразный слесарный инструмент, натаскал туда обрезков из металла и дерева и создал видимость рабочей мастерской. Он важно восседал там в рабочее время и раза два в день выходил с глубокомысленным видом в слесарную мастерскую и что-то там вытачивал на токарном станке. Когда нас после конца рабочего дня гнали с завода в жилую зону, он шел с озабоченным видом, неся под мышкой сверток старых чертежей, которые он выпрашивал в конструкторской завода якобы для того, чтобы делать на обороте свои расчеты. Так он морочил начальству голову месяцев пять.

Как всякий человек с игровыми наклонностями, Вдовин любил устраивать спектакли. Однако в предпринятой им аванюре было особенно важно не переиграть. Но однажды он переборщил в своей показухе. Возвращаясь с завода, он нес на высоко поднятых руках какую-то огромную конструкцию, состоявшую из скрепленных проволокой металлических трубок, стеклянных и металлических банок из-под консервов, деревянных брусков и спичечных коробочек. Все это изделие было так велико и необычно, что не могло не привлечь внимания надзирателя, обыскивавшего нас при входе в зону. Надзиратель взял у Вдовина из рук его агрегат и, спросив «Что это за мусор ты таскаешь?», бросил его у самой вахты на землю. Банки, склянки и коробочки разлетелись в разные стороны, и тут наконец наблюдавшего за процедурой начальника лагеря осенило, что вся деятельность новоявленного изобретателя — один лишь блеф. Решение было принято немедленно, и на следующий день

Вдовин вышел на работу с бригадой лесоцеха.

Но не так-то легко было заставить Вдовина работать, изобретательности его не было предела. Эта голова буквально была генератором новых идей. Как-то он подошел ко мне и спросил, правда ли, что больных венерической болезнью отправляют не то в Ленинград, не то в Вологду на излечение. Я, разумеется, этого не знал. Однако Вдовин все выяснил и подал официальное заявление, что в прошлом болел сифилисом, недолечил его и сейчас страдает сифилисом мозга. Лечебные и лабораторные условия в лагере не давали возможности проверить заявление Вдовина, и его отправили куда-то для обследования.

Месяца через два отдохнувший и потолстевший Вдовин вновь появился на ОЛПе. Он был в очередной раз разоблачен и вновь отправлен на общие работы.

— Так был у тебя, наконец, сифилис мозга? — настойчиво спросил я.

Вдовин расхохотался.

— Что ты, я здоров как бык! Я этих умников дурачил, — улыбаясь, говорил он, — четыре месяца с гимном, пять месяцев — с вечным двигателем, два — с сифилисом. Итого почти год. Пора подумать об освобождении.

Тут для Вдовина открылись новые возможности. Он списался с дамой, которую якобы изнасиловал, и потребовал, чтобы она взяла назад свои обвинения. Но та была непреклонна: «Согласишься жениться, тогда освобожу из тюрьмы!» Мужика деваться было некуда. Он согласился.

— Вообще-то она баба вкусная, — рассуждал Вдовин, — по крайности можно и жениться.

Женщина приехала в лагерь на свидание и под диктовку Вдовина сочинила заявление, в котором объявляла себя от него беременной, сообщала об их намерении пожениться и просила пересмотреть дело. Заявление истицы возымело свое действие, и однажды Вдовина выдернули, как говорили в лагере, на этап и отправили для пересмотра дела в Ростов. Видимо, все разрешилось в его пользу, ибо в лагерь он больше не возвратился.

А ведь как было бы хорошо, если бы Вдовин сумел реализовать свою гениальную идею и изобрести вечный двигатель! Какой бы это был переворот в науке! Но, увы, это не удалось Вдовину. «Начальство помешало!» — иронически говорил он, хитровато улыбаясь.

СТАЛИНИСТ

В лагере в гротескном виде воспроизводилась народная жизнь на воле со всеми ее мыслимыми и немыслимыми ситуациями. С точки зрения нормального человека это был мир странный и неестественный, полный каких-то нелепых парадоксов и противоречивший элементарному здравому смыслу. Мертвенная неподвижность лагерной жизни порой бурно нарушалась какими-то невероятными происшествиями, для того чтобы потом вновь войти в свою тоскливую колею. В этом мире причудливо переплеталось трагическое и комическое, а реакция на различные события деформированных патологической ситуацией людей часто бывала неадекватной.

Возможно, трагикомическая история, свидетелем которой я оказался однажды летом в период моего лагерного бытия, и шокирует некоторых сторонников покойного генералиссимуса, но я должен со всей определенностью заявить, что в ней нет ни капли вымысла. Так случилось, что все ее главные эпизоды прошли передо мною, как в документальном кинофильме, и грех мой будет лишь в том, что я не сумею изложить события столь красочно, как они того заслуживают.

Как-то вечером, я случайно оказался свидетелем эпизода, послужившего завязкой ко всему последующему. Нас только что пригнали с работы, и я несколько замешкался около вахты, когда к начальнику надзора танцующей походкой приблизился коренастый, невысокого росточка блатнячок и, выделявая ногами движения, напоминающие четку, а на языке того мира «бацая», заговорил:

— Начальничек, отпусти меня на тридцать седьмой ОЛП, дело есть.

Не глядя на паренька, надзиратель сквозь зубы небрежно процедил:

— Других желаний нет, а то говори уж сразу!

— Посылочка мне пришла на тридцать седьмой, начальничек. Да и вообще переселиться бы надо, дело есть.

— Пошел вон! Посылка ему пришла. Волк из леса прислал. Вон в тот дом я могу тебя переселить! — величественным жестом надзиратель указал пальцем на расположенный рядом с вахтой штрафной изолятор.

— Ну, смотри, гражданин начальник, пожалеешь,— все так же приплясывая, гнусавил блатнячок.— Будешь ноготки грызть, но поздно будет!

Но гражданин начальник даже не удостоил парнишку взглядом и, повернувшись спиной, величественно зашагал в сторону вахты.

Желание переменить участь часто овладевает заключенными. Блатные, для которых любой лагерь как дом родной, где они всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку членов воровской корпорации, часто хотят переехать в другой лагерь по конкретным причинам: повидаться с освобождающимся уголовником и что-то передать на волю, увидеть возлюбленную из воровской шайки и т.д. Подвижные в силу своего образа жизни, они особенно часто стремятся изменить местожительство хотя бы в пределах огромного лагерного архипелага.

В следующие сутки я должен был выйти на завод лишь в ночную смену. С утра было жарко, и сразу же после завтрака я расположился на крылечке барака, предвкушая возможность провести время, греясь на солнце в столь редкий, свободный от работы день. Напротив был расположен довольно высокий двухэтажный барак, и я невольно вспомнил ядовитое замечание одного полунинтеллигентного двадцатипятилетника, что при коммунизме одноэтажных барakov в лагере больше не будет, будут только двухэтажные.

Неожиданно я заметил совершенно голого человека, появившегося на крыше высокого барака. Приглядевшись, я понял, что этот тот самый парнишка, который вечером около вахты добивался, чтобы его этапировали. В жилой зоне постоянно велись различные ремонтные работы, и в первую минуту я решил, что нарядчик послал парня чинить крышу. Ну а почему голый? Да, вероятно, как и я, хочет воспользоваться редким жарким днем и подзагореть.

Свою работу парень почему-то начал с печных кирпичных труб. Методично работая ломиком, который он припас для этого дела, он стал выбивать кирпичи и аккуратно укладывать их в виде бруствера. Разобрав кирпичные трубы, парень начал отделять куски шиферной кровли и наращивать ими свой бруствер, который поднимался все выше и выше. Получилось своеобразное боевое заграждение, вроде баррикады. Временами паренек прерывал свое дело и, отойдя в сторону, осматривал это сооружение, явно любуясь

результатами своего труда. Заинтересовался и я его странной работой и стал внимательно за ней наблюдать. Вскоре парень очистил от шиферных плиток большую часть крыши и приступил к выламыванию стропил, которые сперва плохо поддавались его усилиям. Однако, действуя ломиком, как рычагом, он все же умудрился вытащить на уцелевшую часть крыши несколько больших бревен, которые, видимо, по его замыслу, должны были придать брустверу законченный вид.

Паренек работал уже часа полтора, когда, наконец, солдат на вышке обратил внимание на его деятельность. Вообще-то в обязанность стрелка не входит наблюдение за тем, что творится в зоне, его дело — смотреть, чтобы никто из заключенных не сделал попытку выбраться на запретку. Но от нечего делать он, как и я, заинтересовался происходящим и стал присматриваться.

Между тем дело у парня подвигалось довольно быстро. Разобрав большую часть крыши и оставив от нее лишь те места, где находились его укрепленные позиции, он стал крушить потолок второго этажа так, что штукатурка посыпалась градом, заваливая жилое помещение. Откуда-то вынырнул дневальный барака, который до того, видимо, спал или куда-то уходил, и заорал:

— Что делаешь?

Паренек ничего не ответил и продолжал спокойно свою работу.

Тут только наконец стрелок на вышке сообразил, что происходит нечто не совсем обычное, и позвонил на вахту. Через минуту появился надзиратель.

— Ты что там, мать твою, делаешь?

— Барак рушу.

— Слезай сейчас же!

— Кончу, слезу.

К этому времени слух о необычном происшествии начал распространяться по зоне, и все, кто в этот день в ней был (рабочие ночных смен, ходячие больные госпиталя, внутрилагерная обслуга и т.д.), высыпали на улицу и сгрудились возле барака. Это только и нужно было пареньку. Ведь что за спектакль без заинтересованных, понимающих и сочувствующих зрителей!

Вообще надо сказать, что всякое проявление доблести, подчас в самой уродливой, патологической форме, в этом мире высоко котируется. Для того чтобы продемонстриро-

вать свой душок, способность проявлять дерзкое мужество во взаимоотношениях с охраной и надзором, или выражая свой протест, уголовник часто совершает странные с точки зрения нормального человека поступки: зашивает себе рот, прибивает себя гвоздями к нарам, делает на лбу наколки. Я помню, как у нас в зоне один блатной проглотил в санчасти градусник, а другой — черенок от ложки и хирург-заключенный делал им операции, дабы извлечь лагерное имущество. Подобные действия должны были поднять авторитет блатного в корпорации, а стало быть, обеспечить ему влияние и власть в преступном мире. Чего-то подобного, видимо, и добивался паренек на крыше.

— Начальничек, ты же дубак, тебя не прошибешь, хоть из пушки стреляй. Я тебе что вчера говорил: «Отпусти на тридцать седьмой!» А ты «нет, нет». Я же сказал, будет хуже. Теперь пеняй на себя. Сталин нас учит прислушиваться к народу, а ты что творишь!

Взбешенный надзиратель обошел барак со всех сторон, но влезть на крышу без лестницы возможности не было. Тогда он побежал на вахту за подкреплением. Двое надзирателей притащили лестницу, и один было полез на крышу, но паренек оттолкнул лестницу, и надзиратель вместе с ней грохнулся на землю. В толпе раздался смех. Положение надзирателей становилось нелепым. Вторая попытка залезть по лестнице на крышу закончилась еще позорней. Паренек не только оттолкнул лестницу, но сумел также метнуть кусок шифера, который угодил надзирателю в лицо. Как полагается в театральном спектакле, «действие» сопровождалось текстом. Паренек вошел в роль и произносил монологи, зрители откликались на них ядовитыми замечаниями.

— Сталин нас учит, что надо думать о живом человеке, а ты, падло, что делаешь, слушать меня не схотел! Сталин говорит, что незаменимых нет. Может, если б меня поучить, в рот меня толкать, я профессором бы стал или там начальником лагеря! В начальство бы вышел, в кабинете бы сидел, газеты читал, чай с лимоном пил и по телефону разговаривал. Или там вертухаем стал вместо тебя. Вот бы тебе обидно было! А я вот всю дорогу рогами упираюсь!

Парень, видимо, хорошо усвоил идеи вождя о выдвижении руководящих кадров из народа.

Зрители потешались.

Наконец была вызвана пожарная команда, состоявшая из заключенных-малосрочников. Пожарники были привилегированным лагерным сословием и жили за зоной. В команду брали обычно бывших военнослужащих, осужденных за воинское преступление: самоволку, пьянку и т.д. Поставили лестницу, закрепили ее за кромку остатка крыши, и один из надзирателей вновь полез наверх. Однако итог был тот же. Парень закидал его обломками шифера, а затем сбросил и лестницу. Тогда заработал пожарный насос, и паренька стали поливать холодной водой. Тут стало ясно, зачем он предусмотрительно разделся догола и соорудил бруствер. Паренек то прятался за баррикаду, то бросал куски шифера, то выскакивал и отталкивал лестницу. Кому-то из надзирателей он попал в голову, кто-то из атакующих вывихнул ногу, падая с лестницы. Словом, как говорится в военных сводках, были незначительные потери.

В зону стали возвращаться рабочие бригады. Услышав о происходящем, все бежали смотреть спектакль. Надзиратели беспомощно топтались, авторитет их падал на глазах. Из толпы сыпались ядовитые замечания и советы:

— В генштаб телеграмму отбейте, пусть десантников пришлют!

— За сто рублей и пол-литра я с парнем договорюсь, он слезет!

Часам к пяти подвезли второй насос, и мощная струя воды обрушилась на парня. Однако он, ловко увертываясь, продолжал метать в надзирателей куски шифера и отталкивать вновь устанавливаемую лестницу. Тем временем, проникнув через разрушенную крышу, вода потоком устремилась в барак. Наконец начался общий штурм. Пожарники водрузили две лестницы, и под прикрытием водяных струй надзиратели сумели с двух сторон взобраться на крышу. Преступник схвачен, на него надеты наручники, и его волокут вниз. Бить его начинают еще по дороге в изолятор, и паренек кричит истошным голосом на всю зону: «Сталин, спаси! Сталин, спаси!»

Так завершилось незапланированное лагерное представление, в котором действующими лицами были не актеры-профессионалы из лагерной агитбригады, но выступал один солист в сопровождении лагерной самодеятельности, куда входили и заключенные и надзиратели.

А на следующий день я, проходя мимо штрафного изолятора, услышал, как тонкий голосок выводил:

Дом за высоким забором,
Сложен из камня крестом.
Двери с железным запором.
Окна за толстым щитом.

Утром разносят баланду.
В ржавых и грязных бачках.
Попка на вышке рыдает,
Тянет свой срок на часах.

Век не видеть мне свободы,
Зря я лишь сердце томлю.
Знают лишь мрачные своды.
Горькую долю мою.

Лагерная жизнь вновь вошла в свою привычную, тоскливую и монотонную колею.

ДИАЛЕКТИК

На территории нашего лагеря находился карантин, который служил основным поставщиком дополнительной рабочей силы для лесобиржи. Согласно инструкции ГУЛАГа, прибывающих в лагерь из следственных тюрем заключенных, прежде чем распределять по рабочим бригадам, две недели держали в карантине, и начальство старалось всячески использовать эту дармовую, даже по лагерным понятиям, рабсилу на всевозможных работах. Часто наша сравнительно небольшая бригада не могла справиться со всеми видами работы, особенно если погрузка так называемых коммерческих вагонов то ли по вине железной дороги, не давшей порожняка, то ли из-за отсутствия требований на пиломатериалы приостанавливалась. В этих случаях приходилось штабелевать доски, а в зимнее время к тому же еще и очищать от снега лесовозные дороги. Тогда выгоняли на работу заключенных из карантина. Это давало нам возможность ощутить пульс политической жизни страны, поскольку всякая кампания сопровождалась новыми арестами, и по поступавшему в лагерь контингенту мы судили о том, что происходит на воле.

В этом общем, изо дня в день непрерывно лившемся человеческом потоке попался и наш брат, столичный и нестоличный интеллигент, которого только что пропустили через тюремную мясорубку Лубянки, Лефортова, ленинградского Большого дома или еще какого-то «большого дома» и теперь, измученного ночными допросами и ослабевшего от голода, выбрасывали к нам на порой непосильный труд. Твердо усвоив лагерный закон, гласивший «день канта — месяц жизни», мы старались облегчить, насколько могли, участь такого человека, если это оказывалось возможным — помочь устроиться в нашей зоне на работе полегче. Поэтому, когда с бригадой из карантина на бирже появился преподаватель философии и диалектического материализма из Ростовского университета Р., первое мое желание было ему помочь. Это был человек лет сорока. Я подсказал бригадирю мысль поставить его на сравнительно легкую, хотя и утомительную работу по уборке шахтовки и горбыля, и к вечеру он процентов на десять выполнил дневную норму. «Ну что же,— рассудили мы,— человек только что прибыл из внутренней тюрьмы, физически ослаб, дело понятное».

По выходе из карантина Р. был направлен в нашу бригаду. С первых же дней его поведение показалось мне весьма странным. Обычно вновь прибывшие вели себя осторожно и крайне сдержанно, стремясь наладить какие-то человеческие отношения с окружающими. Напротив, Р. сразу же усвоил иную манеру поведения. Оказавшись в среде блатных и приблатненных, мелких воришек, жуликов и мошенников, он стал вести себя до комизма важно, с чувством собственного достоинства, противопоставляя себя окружавшей его шушере. Уголовники — народ наблюдательный, они очень скоро его раскусили. Первым стал обращаться к нему с насмешливыми замечаниями мелкий воришка Петька, или Петр Федорович, как его в шутку величал бригадир. Услышав ученые рассуждения Р. по какому-то пустяковому предмету, Петька сказал:

— Слушь-ка, Р., хренякни нам что-нибудь из философии.

Лед был сломлен, и посыпались иронические замечания в адрес философа:

— Ты скажи, как ты, философ, человек умный, сюда к нам, дуракам, угодил?

Р. важно рассказывал. Выяснилось, что ученый муж попал в тюрьму за то, что в лекции по философии, объясняя соотношение двух категорий — случайности и необходимости, привел в качестве примера следующее оригинальное рассуждение: «То, что великий советский народ победил коварного врага в Великой Отечественной войне, было необходимостью, а то, что в это время во главе нашего государства стоял Иосиф Виссарионович Сталин, было случайностью». «То есть как это? — спрашивали его во время следствия в парткоме университета. — Выходит, наш народ мог победить немецких фашистов без Великого!..» Машина закрутилась. Подобного богохульства бдительные органы соответствующего ведомства, разумеется, стерпеть не могли, и, получив через Особое совещание свою десятку, Р. приехал к нам в лагерь.

Довольный тем, что вокруг него собралось общество, Р. вещал. Привыкнув в университете к покорным, обязанным посещать лекции студентам, он упивался, сообщая на большом пафосе толпившимся в курилке биржи заключенным разные банальности, которые он сам, видимо, считал истинами. В популярной, как ему казалось, форме он объяснял плохо понимавшему русскую речь крестьянину-двадцатипятилетнику из Литвы, что тот сидит в результате обострения классовой борьбы в деревне, Петьке — что социалистическое общество должно сурово карать за покушение на личную и общенародную собственность, ибо она создается упорным трудом рабочих и колхозников, что все сидящие в лагере политики осуждены в соответствии с законом диалектики об отрицании отрицания. «Мудрость Сталина, — гнусавил он, — состоит в том, что он первым осознал опасность для партии всяческих оппозиций и разгромил их. Субъективно оппозиционеры, может быть, и неплохие люди, но объективно они вредоносны».

Я не мог понять, говорит ли он все это всерьез, шутит или надеется, что кто-либо из стукачей донесет о его правдивых речах начальству и его освободят. Если так, то это было по меньшей мере наивно. Но, кажется, он вещал всерьез.

Слушая Р., я невольно вспоминал пустопорожние лекции по так называемой четвертой (философской!) главе «Краткого курса истории партии», которыми нас, студентов ИФЛИ, пичкали корифеи этой науки. Один из них про-

славился подхалимской книжонкой «Дальнейшее развитие марксистско-ленинского философского учения в трудах И. В. Сталина». За свой скромный научный труд автор был всячески обласкан властями, получил Сталинскую премию и сделал академическую карьеру. Припомнил я и яростные выступления этого человека против всяческих «идеалистов», позитивистов, формалистов и прочих «истов» в философии. Страшно было подумать, сколько бездельников и халтурщиков занималось изготовлением подобных трудов, сколько произносилось слов на лекциях и конференциях и сколько сил и часов короткой человеческой жизни расходовалось бессмысленно. Но так было на воле, а в лагере никто всерьез Р. не принимал, его бесконечная болтовня всеми воспринималась как речь глупого человека, недоумка и то и дело прерывалась ядовитыми репликами.

— Если ты такой умный и превзошел всю эту премудрость, то как же тебя сюда посадили? — спрашивал постоянный его оппонент, бывший студент Львовского университета.

— Это ошибка, меня освободят. В таком большом деле, как строительство социализма, возможны ошибки.

— А ты не допускаешь, что могли быть ошибки и в делах других зека?

— Конечно, допускаю.

— Но ты же сам говоришь, что, согласно закону логики, часто повторяющиеся ошибки выглядят как система, — прижимал его студент.

Крыть было нечем, и Р. замолкал, чтобы спустя некоторое время возобновить свой бесконечный монолог.

— Ты, Р., вон сколько получал в своем университете, а я в деревне шиш, где ж тут справедливость? — спрашивал работяга.

— При социализме каждый получает по труду, — безапелляционно ронял Р.

Было удивительно наблюдать, как его наука давала ему возможность оправдывать все на свете.

Самое интересное, что он не был циником, он был, если угодно, классическим схоластом, прочно усвоившим несколько примитивных идей и запрограммированным на все случаи жизни.

Однажды бригада штабелевала пиломатериалы для воздушной сушки, а Р., как слабосильный, был занят на другой,

более легкой работе. Один из штабелей достиг уже высоты метра в четыре, и подающий доски Петька запарился, выжимая на руках каждую из шестиметровых пятидесяток. Тогда бригадир направил в помощь Петьке всех, кто не участвовал в штабелевке, в том числе и Р.

Далее произошло нечто странное. Всякий раз, как Петька выжимал очередную доску, Р. толкал его в спину. Петька сперва воспринял это действие Р. как старческое озорство (Петька был примерно в два раза моложе Р.) и лишь выматерился, но когда Р. поступил так во второй и в третий раз, он не на шутку рассердился и полез драться. Наблюдавшие за происходящим работяги со смехом его оттащили, а один из них изрек: «Философ спятил!»

Я также наблюдал за происходящим и испытывал чувство стыда. Дело в том, что я был единственным человеком в бригаде, понимавший благодаря опыту обучения в советском гуманитарном вузе подоплеку странного поведения Р. Профессор как бы олицетворял структуру мышления, которую нам навязывали. Ведь он на самом деле думал, что помогает Петьке в работе. Он искренне так думал! В его привыкшей к схоластическим построениям голове сложилась простая, вполне убедительная для его ума идея.

Петька толкает доску наверх, а он, Р., толкает Петьку в спину. «Силы складываются», и, стало быть, он облегчает Петьке его труд. Какое удивительное торжество формальной логики! А вокруг еще все почему-то возмущаются или смеются!

По просьбе бригадира Р. списали с завода и перевели во внутреннюю службу ОЛПа. Р. был назначен помощником заведующего лагерным ларьком. Его новый начальник, в прошлом директор райпищеторга в небольшом городке, осужденный за какие-то финансовые махинации, сумел и в лагере — то ли за взятку, то ли благодаря связи с кумом — устроиться на легкую и выгодную работенку. Всю свою ненависть к образованным он обрушил на отданного ему на съедение Р. Он всячески издевался над беззащитным философом, заставляя его выполнять всю тяжелую и грязную работу — по многу раз в день мыть пол в ларьке, перекатывать с места на место бочки, таскать через всю зону воду. При этом он непрерывно ругал его последними словами, а раза два избил.

— Мы все здесь сидим из-за таких паскуд, как ты,— орал он,— философствовали, философствовали и дофилософствовались нам всем на погибель, контра поганая!

Встречая меня на дворе зоны, Р. жаловался на свою судьбу и ругал советские порядки, при которых к вершинам власти поднимались такие люди, как его начальник.

— Ведь он сам бывший член партии. Сам же строил это общество, а теперь винит интеллигенцию! И подумать только, что на обучение подобных людей ушли лучшие годы моей жизни! — сетовал он, прозревая.

Мне было и смешно слушать этого незадачливого философа и немного его жалко.

Но судьба заключенных переменчива. При очередной ревизии ларька обнаружилась недостача, и заведующий загремел на этап, а Р. был назначен на его место и вскоре воспрял духом. От былых его сомнений в правильности избранного им жизненного пути не осталось и следа. Воистину, бытие этого человека полностью определяло его сознание. Важно восседал он в своем универмаге, продавая мыло, зубной порошок, маргарин, дешевое печенье и прочий нехитрый товар. В каморке при ларьке он и жил. Завелась у него и знакомая — бойкая вольняшка из бывших зечек-бытовичек. Она оттянула свою семерку за какие-то злоупотребления в торговой сети, осталась жить и работать в поселке и по роду своей деятельности часто бывала в зоне. Для нее Р. был олицетворением большой науки, и вечерами, проходя мимо его кабины, я слышал, как он гнусавил, приобщая ее к основам философии.

Слушая разглагольствования Р., я невольно вспоминал рассказ моего приятеля, как однажды ночью в Бутырской тюрьме он услышал за дверью камеры разговор двух надзирателей, из коих один, видимо, помогал другому подготовиться к очередному политзанятию. «Видишь ли,— говорил надзиратель постарше надзирателю молодому,— вот вещь в себе и вещь для нас. Если вещь не опознана, то она в себе, а если опознана — она для нас». Так тюремная терминология помогала внедрять в умы надзирателей основы немецкой классической философии. Бедные Кант и Гегель! Могли ли они думать, в какой среде и какими неожиданными путями будут распространяться их идеи! Подобно надзирателю Бутырской тюрьмы профессор Ростовского университета Р. трудился на поприще народного просвещения

и распространял в нашем обществе идеи единственно верного философского учения.

После освобождения я с Р. больше не встречался, но мне говорили друзья-ростовчане, что Р., возвратившись в родной город, в университете больше не работал, но читал какие-то лекции по марксистско-ленинской философии по линии общества «Знание». Видимо, прочь ушли посетившие его в лагере сомнения. и он вновь вернулся к любимому занятию, на которое только и был способен.

ВИТЕК

К нам на лесобиржу Витек был переведен из лесоцеха, где зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Тихий, спокойный и вежливый, он казался симпатичным и закоренелым уголовникам, и тем, кто на воле привык к людям культурным и деликатным. Послушный и исполнительный, он все работы выполнял быстро и аккуратно, ни с кем не ссорился, и бригадир был им доволен. По-детски розовые щеки и пухлые губы делали его похожим на молодую девушку, и как-то не сразу верилось, что ему уже стукнуло двадцать лет. Но более всего привлекали к нему удивительно красивые ярко-голубые глаза, которые, казалось, светились душевной чистотой, благородством и невинностью. Хотя он был невысокого роста и худощав, сложен он был хорошо и даже изящно, а когда, работая на солнце, раздевался до пояса, обнаруживалось сильное мускулистое тело с мягкой и нежной кожей человека, мало физически работавшего. Был он предельно аккуратен, всегда чисто одет, и даже грубые лагерные бушлат и телогрейка отлично на нем сидели. В обычную баню в зоне он не ходил, брезговал, а мылся в душе в котельной электростанции.

На фоне грубых, все время сквернословящих уголовников Витек производил впечатление милого, воспитанного молодого человека. Он почти никогда не матерился и выражал свои мысли хорошим, сравнительно чистым литературным, я бы даже сказал, изысканным языком. Воровским жаргоном он почти не пользовался, хотя явно был с ним отлично знаком. На работу он выходил всегда с книжкой, которую неизвестно где доставал, и читал каждую свободную минуту.

Витек охотно со мной беседовал. Он был весьма начитан в русской и зарубежной классике и, когда однажды зашла речь о литературе, обнаружил отличное знакомство почти со всеми романами горячо любимого мною такого доброго и немного сентиментального Диккенса. Если к этому прибавить его довольно хороший вкус, пренебрежительное и даже отрицательное отношение к детективам, о которых он говорил с некоторым снобистским презрением как о низкопробном чтиве, то создавалось впечатление, что мой молодой собеседник неплохо образован и обладает хорошим художественным и психологическим чутьем.

— Авторы детективов плохо знакомы с нашим преступным миром, да и мало чего понимают в мотивах преступлений,— как-то сказал он мне и загадочно улыбнулся.

Из разговора с ним я понял, что он рос в интеллигентной семье, родители его занимали какие-то высокие должности в большом украинском городе, и мать с отцом попеременно приезжали к нему на свидание. Хотя он говорил о своих «стариках» с некоторой покровительственной иронией, чувствовалось, что он их любит, и всегда с теплотой и даже с умилением вспоминал о ранних годах жизни в родительском доме.

По совести сказать, я был немало удивлен, узнав однажды, что он двадцатипятилетний и сидит за бандитизм и убийство. Только однажды проявилась незаметная с первого взгляда черта его характера, когда в ответ на грубый окрик выгонявшего его из курилки на работу бригадира он отложил книжку и как-то странно, искоса на того посмотрел. При этом его прозрачно голубые глаза так сверкнули, что всем присутствующим стало не по себе.

В столовую Витек предпочитал не ходить, так как регулярно, два-три раза в месяц, получал с Украины богатые посылки. Изготовив себе перед выходом на работу несколько бутербродов с салом, ветчиной или с сыром и аккуратно завернув их в чистую бумагу, он неторопливо поедал их во время короткого перерыва на работе, а когда кто-либо из уловников со свойственной им наглостью предлагал разделить с ним трапезу, он лишь презрительно пожимал плечами.

— Вот я все сам съем, а тебе не дам, ходи голодный,— сказал он как-то одному работяге.

В соседней с лесобиржей строительной бригаде работал паренек, тоже двадцатипятилетний, невысокого роста и с большим животом лагерного доходяги, оборванный, грязный и вечно голодный. Он ходил по ночам в столовую помогать поварам мыть посуду и чистить картошку, за что его подкармливали. У него всегда был какой-то униженный и прибитый вид, и все относились к нему с большим презрением. «Тарелки вылизывает после всех»,— говорили о нем. Меня удивляло, что он частенько прибежал к нам в бригаду и Витек, обычно не слишком общительный и не склонный к благотворительности, ласково с ним разговаривал, а иногда его и подкармливал. Паренек, в свою очередь, оказывал Витьку разные мелкие услуги.

Я был удивлен дружбой двух таких непохожих друг на друга однолеток и спросил Витьку о доходяге.

— Подельник он мой, Леха,— улыбаясь, рассказывал Витек,— мы вместе тут одного пришили.

— Как так? — не понял я.

— Да просто,— все так же улыбаясь, сообщил Витек,— шли тут поздно вечером по дороге близ Харькова в пригороде. Подвернулся такой здоровый мужик. Я подошел спереди, Леха сзади. Мужик был одет прилично: кожаное пальто, шапка меховая. Я говорю ему: «Быстро, лопатник!» А он здоровый был, роста высокого, думал, мы слабаки. Послал нас. А у меня пистолет был, мы у одного милиционера взяли. Я вынул пистолет и говорю ему: «А ну, быстро!» А он решил, что мы шутим, полез драться, ну я его и уложил. И всего-то двадцать семь рублей нашли в кармане. Кожанку и шапку взяли. Я пистолет Лехе отдал, и вышли мы на пригородную станцию. А у Лехи вид, сами видите какой, к нему суки и привязались. Кто, откуда. А, из колонии! Повели, обыскали, нашли пистолет. Заварилось дело. А тут убитый на дороге. Экспертиза. Вышли на меня. Ну, мы по четвертаку и отхватили.

— А где же вы познакомились?

— Да мы вместе в колонии сидели. Я ведь по колониям с четырнадцати лет. Посадят, перевоспитают, выпустят. У Лехи родителей нет, померли, а за меня хлопчут. И вот залетели.

Витек рассказывал все это спокойно, как о житейской неудаче, неблагоприятном повороте капризной фортуны.

Само собой так получилось, что без больших усилий Витек сумел себе завоевать в бригаде особое положение. От работы он не отлынивал, но если был не в настроении, говорил бригадир, что работать не будет, и его оставляли в покое. «Парень с душком», — говорили про него и старались его не задевать.

О своих былых похождениях Витек особенно распространяться не любил. Не то чтобы он чего-либо опасался — вся его жизнь прошла на глазах разных следователей и прокуроров, и ему нечего было от них скрывать. Просто излишняя болтливость ему явно не импонировала. Он так же не любил слушать чужие рассказы о грандиозных воровских похождениях, которыми обычно хвастались мелкие жулики, выдававшие себя за важных и опытных персон в воровском мире. «Все врут они, — говорил он, — а всего-то сидят за мелочь». Передразнивая хвастунов, он произносил скороговоркой, пародируя блатные интонации: «Залетел в сонник, отвернул угол и на майдан к барыге. (В переводе на обычный язык это значило: «Проник в квартиру со спящими людьми, схватил и унес чемодан (или что-либо аналогичное) и побежал к скупщику краденого».) А всего-то делов!» Только в редких случаях он, забыв свою обычную сдержанность, делился своим воровским и жизненным опытом.

Однажды обычные работы на лесобирже были приостановлены из-за проливного дождя. Мокрые доски не штабелюются, а других спешных работ не было, и бригадир милостиво разрешил всем собраться под крышей. В курилке набилось много заключенных из нашей и других бригад и шел обычный лагерный разговор с взаимными насмешками и поддразниваниями. Зашла речь и о жизни в колониях для малолетних преступников. Многие из присутствовавших начали свою уголовную карьеру еще в малолетстве и в колониях побывали. При этом даже многоопытные, прошедшие огонь и воду рецидивисты вспоминали колонии с ужасом. Малолетки, не различая добра и зла, творили кошмарные дела. Уж я и не помню, при каких обстоятельствах и в связи с чем в беседу включился и Витек.

— В колониях я три раза побывал. Да нет, ничего, жить можно. Зависит от того, как себя поставишь. Меня там не трогали, боялись. А вообще-то народ там отпетый. Помню, как-то начальство решило немного разгрузить нашу колонию. Уж больно много нас там набралось, и решили часть

послать на стройку учениками. Было это в Сибири. Отобрали тех, у кого срок остался небольшой и «кто стал на путь исправления». — Последнюю фразу Витек произнес с иронической интонацией в голосе. — Погрузили нас в несколько теплушек и отправили. Конвоя нам не дали, а сказали: «Вы теперь вольные и сами доберетесь». Только в классном вагоне ехали двое сопровождающих, которые должны были доставить нас до места.

Как-то вечером поезд остановился на небольшой станции. Дело было вскоре после войны, достать билет на поезд было трудно. Подходит к вагону один старичок и говорит: «Ребятуншки, доехать с вами нельзя ли? Здесь всего один перегон. Утром я на месте буду».

— Залезай, — сказали мы.

Старичок отошел, а потом вернулся и говорит:

— Нас тут двое, со мной внучка, нам бы двоим сесть.

— Да двоим-то, пожалуй, и места не будет.

— А я тут в соседнем вагоне договорился, меня там посадят. А девочку уж к вам, если можно.

— Сажай.

Девочка была невысокого росточка, на вид ей можно было дать лет четырнадцать-пятнадцать. Ей помогли подняться в теплушку и поместили на нарах. Старик ушел, и вскоре поезд тронулся. Все устроились спать. Ночью меня кто-то разбудил: «Вставай, Витек, твоя очередь!» Я сперва спросонья не понял, они, оказывается, девку всем хором драли. Я-то вообще не люблю коллективов, но на этот раз полез. А потом лежим и думаем, что дальше делать, отвечать ведь придется, она чуть жива. Обратно в колонию неохота. Кто-то предложил выбросить из вагона — и концы в воду. Девку поставили у открытых дверей. «Что, наелась, сука!» — крикнул один, шарахнул ее ногой в живот и выбросил из вагона. Утром прибежал старичок: «Где внучка?» — «Какая тебе внучка, ты что, охуел?» Старик туда, сюда. А поезд в это время пошел. Ну и все.

Стало тихо в курилке.

Здоровенного роста детина, шофер на лесовозе, сидящий за бандитизм, изрек:

— Ну и гад же ты, Витек. Таких, как ты, убивать надо при рождении!

— Да ведь убивать-то нас трудно, мы сами кого хочешь... — как-то очень спокойно и даже безразлично сказал

Витек.

Помолчали. Потом Витек добавил:

— А что ей, она же девка конченная, дырявая, как жить бы дальше стала. Ей же лучше так.

Разговоры в курилке прекратились. Витек снова погрузился в чтение книги.

Однажды нашу бригаду вывели на работу, но Витек был оставлен в зоне. Нарядчик сказал: «Идет на этап». Дело было обычное, и мы о парне забыли.

Месяцев через пять появился у нас в зоне человек с того ОЛПа, на который Витек был этапирован. Это был хорошо известный в лагере старый блатной, некий Морозов. Ему оставалось сидеть месяца два, его готовили к освобождению. Я был с ним немного знаком. Мы разговорились, и я спросил его про Витьку.

Морозов усмехнулся:

— Это такой вежливый, круглолицый? Как же, помню. У вас на комендантском ОЛПе двадцатипятилетников ведь не держат, а его держали. Отец добился лагеря полегче. А как к нам привезли, стали гонять в лес, начал он цапаться с бригадиром, нарядчиком. Себя блатным в законе ставить. А ведь он кто — чхб (лагерная аббревиатура «черт хилый под блатного»). Стал и с нашим братом задирается, характер показывать. Ему раз сказали, два сказали. Уж очень гордый был. Как-то один из наших обжать его хотел, а он ни в какую. Наш ему врезал, а он в драку и нашего зашиб. А бить вора — сам знаешь, что за это. Ну, кинули его на нары и обушком. Правда, парень пощады не просил, не канючил. Звука не издал. Потом было следствие. Приезжал отец, важная шишка. Все дознавались, кто его уделал. Да ведь у нас там «закон — тайга». Хрен узнаешь. Наши только смеялись.

Морозов помолчал и назидательно добавил:

— В лагере жить уметь надо!

ГРУЗЧИКИ

Второй день нет погрузки. Это означает, что на лесобирже скапливаются горы пиломатериалов и в любую минуту железная дорога может подать двойное число вагонов. В таком случае бригаде предстоит тяжелая работа, но об этом все стараются не думать. Грузчики не торопятся вста-

вать, хотя сигнал подъема уже прозвучал и дежурный надзиратель ударил по висящей у вахты рельсе. Когда будет получена телефонограмма о подаче «коммерческих вагонов», как здесь почему-то именуется предназначенный под погрузку порожняк, за бригадой прибегут. Три положенных для погрузки часа железная дорога начинает исчислять с момента, когда вагоны устанавливаются на заводской эстакаде, и всякая задержка с выводом бригады влечет за собой увеличение времени погрузки, что оборачивается для завода штрафом. Поэтому при конвоировании грузчиков надзор проявляет несвойственную ему оперативность.

Тишину в бараке нарушает грузчик из Западной Украины. Ощущая себя коммунистом и украинцем, он не захотел до войны служить в польской армии, перешел советскую границу, был арестован как шпион и вот сидит уже одиннадцатый год. Каждое утро, проснувшись, он затягивает, гнусава, одну и ту же песню. «Вставай, проклятьем заклеяменный, народ голодных и рабов!»

В певца летят разные предметы, слышатся проклятия. Постепенно грузчики поднимаются. Начинаются бесконечные разговоры о еде. Один из работяг заявляет, что мог бы съесть ведро каши. Другие выражают сомнение, тогда согласовываются условия спора. Бригадир в сопровождении двух работяг отправляется на кухню за завтраком, и вот они уже тащат два ведра каши — завтрак всей бригады: одно делится между всеми, а другое ставится перед хвастуном. Сгрудившись в кучу около героя дня, грузчики наблюдают за точным выполнением условий. Если работяга все съест — так тому и быть, если не сумеет, он должен поставить бригаде угощение. Подбадриваемый возгласами одобрения и улыбаясь, герой уписывает кашу огромной деревянной ложкой. Свой подвиг он совершает деловито и быстро, чувствуется, что, идя на спор, парень учитывал свои возможности. Каша в ведре быстро убывает.

Я смотрю на парня с ужасом, и мне начинает казаться, что у него растет живот. Вот уже нет половины ведра, но парень темпа не сбавляет. Все так же улыбаясь, он отправляет в рот ложку за ложкой. Самое любопытное, что он вовсе не великан, а худощав, обычного среднего роста. Он до пояса гол и весь испещрен татуировкой, свободного места на спине и на груди нет. Это сложнейшая композиция из надписей и рисунков. Тут встречаются и традиционные

тексты: «Умру за горячую любовь» и «Вот что нас губит» с иллюстрацией в виде голой девицы, бутылки и карт. Есть тут и дань службе на флоте: огромный парусник, нанесенный разноцветной тушью, и большой черный крест на груди, и множество женских имен, отражающих, возможно, сложную личную жизнь героя. Но главным центральным сюжетом, в котором реализовывался весь творческий замысел, парень, видимо, считал изображение обнаженных, лежащих друг у друга в объятиях юноши и девушки. Эту пару он поместил на груди в центре всей композиции. Справедливость требует отметить, что молодые люди были изображены в лучших реалистических традициях. Единственным отступлением от жизненной правды можно считать наличие у девушки хвоста — возможно, дань фольклору о русалках.

Как-то неожиданно наступает финал, каша съедена, и, картинно швырнув ложку в ведро, под всеобщий хохот парень, рисуясь, бросает: «Эх, чего бы еще пожрать!»

О честный, скрупулезный Гиннес! Почему ты не посетил наш Каргопольлаг, чтобы пополнить свою Книгу мировых рекордов!

Триумф героя сорвал дневальный, который, вбежав, сообщает, что в ларек привезли повидло. Дело это серьезное, требующее активного участия всей бригады. Грузчики срываются с места и бегут к ларьку. Быстро расшвыряв выстроившихся в очередь заключенных, они буквально вырывают у ларечника бочку с повидлом и выкатывают ее на улицу. Работяги в очереди с грустью наблюдают, как уплывает столь редкое в лагере «сладкое дело». Бочку кантуют к барaku, и вот уже вся бригада гужется, сев вокруг бочки в кружок. Повидло исчезает с невероятной быстротой. Самое удивительное, что и парень, съевший ведро каши, принимает в трапезе самое живое участие. Когда еще Всевышний ни пошлет такую благодать!

Прибегает надзиратель: есть телефонограмма с завода, ставят десять вагонов. Десять вагонов — это по-божески, и бригада с шумом выстраивается у вахты. Ждем конвоя. Тут же крутится мальчонка лет шести, сын одного из надзирателей. Это дает повод бригадному остряку Сашке начать диалог.

— Андрюш, ты кем будешь, когда вырастешь, надзирателем или конвоиром? — невинно вопрошает он.

— Конвоиром! — говорит малыш, не чувствуя подвоха.

— Будешь стрелять в заключенных, пах-пах?

— Буду стрелять!

Стоящий поблизости отец мрачно смотрит на Сашку, но придраться не к чему.

— Разговорчики! В ШИЗО захотел! — бормочет он.

Появляется конвой. Начальник конвоя, сержант, выходит из помещения вахты, держа автомат, стволом направленный на колонну, и произносит свою ежедневную молитву:

— Во время следования заключенные должны строго держаться рядов. Всякий выход из строя будет рассматриваться как попытка побега, и конвой откроет огонь без предупреждения! Понятно?

— Понятно!

Молодой сержант чувствует себя большим начальником и упивается властью над людьми.

— Тогда следуй вперед!

У ворот вахты стоит сопровождающий колонну солдат собакой на поводке. Когда колонна трогается, собака начинает лаять.

В наступившей на мгновение паузе раздается голос все того же неутомимого Сашки:

— Не лай, не лай, собачка! Твой хозяин злей тебя и то не лает!

Конвоирам приходится проглотить и эту оплеуху. Не останавливать же грузчиков в дороге, когда на подходе вагоны, от погрузки которых зависит выполнение заводом плана.

На этот раз вагонов дают немного, и грузчики могут позволить себе роскошь не беречь силы и расслабиться. Раздаются даже шутки и смех. Я иду в шеренге вслед за любителем каши, и мы все испытываем некоторые неприятные ощущения, но преодолеваем их со смехом. «Ничего, на погрузке просвежится», — зубоскалят работяги.

Колонна идет по дороге, а навстречу, по деревянному настилу, исполняющему на севере роль тротуара, идет молодая женщина. Вероятно, это чья-то жена или дочь, приехавшая на свидание. Ну как тут не развлечься! Когда женщина равняется с колонной, идущий с краю цыган-мора, придав лицу звероподобное выражение, неожиданно хватается за край пальто, рывком притягивает к себе, издав при

этом странный гортанный звук «у-у-у». Женщина в ужасе отшатывается, теряет равновесие и, упав на спину на настил, странно сучит ногами. Грузчики хохочут, смеются и конвоиры. Не правда ли, весело!

Но вот, наконец, завод, и бригаду выводят на погрузочную эстакаду. Поскольку вагонов в этот день мало — погрузку, вероятно, закончим быстро. Но дело несколько осложняется. Везде царит прогресс, и недели за две до описываемых событий на погрузке появилась механизация. Привезли три автопогрузчика. Устроены они примитивно, подобно эскалатору в метро вверх движется бесконечная лента. Двое рабочих кладут доску на ленту, а двое других, сидя на борту гондолы, сбрасывают ее в кузов вагона. Так работать, разумеется куда легче, чем таскать пакеты с досками на плечах, но... Если раньше грузчики втроем грузили вагон при большом напряжении за три часа, то теперь погрузка продолжается при четырех грузчиках четыре часа и более. Зарплата у грузчиков никакого нет — нормы другие, раз есть техника, то зачем же грузчику много платить, выполнять эту несложную работу может всякий.

Разумеется, грузчикам это не нравится, и вот один из них ловко всовывает между зубьями шестеренок гвоздь. Раздается скрежет, что-то ломается, и лента останавливается. Подбегает бригадир. «Что случилось?» — «Сломался машина», — говорит один из грузчиков, высокий татарин. Автопогрузчик откатывают в сторону, и начинается работа вручную.

Когда по окончании работы грузчики собираются в курилку, готовясь к съему, прибегает красный от злости бригадир. Оказывается, железная дорога ставит еще двадцать вагонов. Смех замирает. Часа через полтора должны убрать погруженные вагоны и поставить порожняк. Это значит, что вкалывать придется до поздней ночи, прощай обед и ужин.

А в курилке сидит приехавший из Вологды от какого-то предприятия приемщик пиломатериалов, толкач. Он не раз бывал на заводе, и грузчики его знают. Приемщик всячески стремится заручиться их симпатией. Как всякий мошенник, он хочет иметь навар, уговорить зека погрузить ему сверх спецификации лишние кубометры: может, дачу себе строит, может, сарай. Но при этом он еще и жмот, в чем бригада уже убедилась на опыте.

— Я часто приезжаю сюда и вижу, как с каждым днем погрузка идет все быстрее и легче, очень помогают механизмы, работать становится веселее, — соловьем разливается он.

Заключенные иронически улыбаются. Работяга, только что «сделавший» автопогрузчик, с невинным видом говорит:

— Известное дело, прогресс!

Он хорошо сечет в политике.

— Нам-то здесь особенно повезло, — говорит двадцатипятилетник, в прошлом студент Львовского университета, сидящий за украинский национализм, — пока вы там из последних сил вкалываете, коммунизм строите, мы здесь отсиживаемся. А когда через двадцать пять лет я из тюрьмы выйду, оглянусь вокруг, оказывается, все трудности позади и я пришел на все готовое, коммунизм уже без меня построили.

— Ну да, вот видишь, как все хорошо получается, — не поняв или не расслышав сказанного, радостно соглашается гость. Он, оказывается, еще и идиот.

Грузчики сдержанно посмеиваются.

Молчание вновь нарушает гость. Он принимает решение прибегнуть наконец к последнему аргументу, который, по его мнению, должен особенно привлечь на его сторону сердца грузчиков.

— Тут один еврейчик работал в министерстве, а теперь его к нам на завод перевели с понижением, — радостно осклабившись, ни к селу ни к городу говорит он.

Присутствующие угрюмо молчат. Для всех нас этот тип — существо, прибывшее с другой планеты. Что нам до всех их столичных или провинциальных игр с взаимным подсиживанием и борьбой за тепленькие местечки. К тому же наш гость хоть и глуп, но хитер и жаден.

Меня охватывает злость. Ты, ворюга, хотя бы бросил на стол ребятам пачку сигарет, думаю я.

— Видите ли, — говорю я, — вот у этих двух парней лагерный срок — двадцать пять лет. Им, как говорится, без надобности, кого вы там куда перевели с понижением или с повышением. А будете канючить, чтобы вам лишние доски ребята положили и новый срок схватили, загремите сами к нам в бригаду. Тогда и узнаете все прелести прогресса и механизации!

Гость как-то весь стушевывается и замолкает, а вскоре исчезает вовсе.

Я слышу, как мой приятель, голубоглазый великан из Белоруссии, с которым я часто беседую на разные исторические темы, насмешливо произносит по-английски «вел дан!» (хорошо сделано!). Накануне я рассказал ему, что именно этой краткой формулой в сражении при Абукире в 1798 году по приказу английского адмирала Нельсона сигнальщик поздравил команды кораблей, в считанные минуты потопивших французскую флотилию. Видно, парень запомнил мой рассказ. Теперь и я удостоился комплимента. Судьба парня сложилась трагически: он родился в сельской местности где-то под Гродно, во время войны, подростком, оказался с родителями в Германии, после войны перебрался в Соединенные Штаты и служил там в торговом флоте механиком. Ему захотелось повидаться с оставшимися в Белоруссии родными. Он списался с ними и поступил на корабль, который возил грузы в рижский порт. Туда же приехали и старики родители. В Риге он сошел на берег, был арестован и после полутора лет Лефортовской тюрьмы получил двадцать пять лет за измену родине, которую он видел только ребенком. С родителями он сумел увидеться только во время свидания в лагере.

Я смотрю через окно конторки, как грузчики делают в вагоне, предназначенном для гостя из Вологды, «яму», то есть наваливают доски, оставляя внутри пустое пространство. Я отворачиваюсь. Работяги умеют различать сорт людей.

ВСЮДУ ЛЮБОВЬ

Странное зрелище являла собой появившаяся в заводской зоне небольшая женская бригада. Их было человек десять — двенадцать. Они шли парами, взявшись под руки, и в их облике было что-то для лагеря необычное, сразу же привлекавшее всеобщее внимание. Казалось, что это идут на прогулку мужа с женами. В первый момент я принял тех, кто шел слева, за мужчин, и только когда шествие приблизилось, я понял, что место кавалеров занимают тоже женщины. Однако все в них было мужеподобное — и лицо, и фигура, и одежда.

В первой паре шла женщина высокого роста, худощавая, коротко стриженная под мальчика и напоминавшая старых лагерников-мужчин, с резкими чертами нервного, покрытого морщинами лица. Она была в брюках и рубашке с засученными рукавами, обнажившими мускулистые руки. На ногах у нее были кирзовые сапоги. Она властно держала под руку невысокого роста молодую женщину, хотя и полагерному, но щеголевато одетую, в короткой юбочке, носочках и туфельках, в хорошо пригнанной телогрейке, из-под которой выглядывал белый воротничок. Ее длинные волосы кокетливо украшали два бантика из ярко-красной ткани. Она была полненькая, чистенькая и ухоженная, и лицо ее было спокойно и даже весело.

— Кобылы пришли со своими потаскухами,— в совершеннейшем восторге кричал работавший со мной в бригаде мелкий ворышка Петька, от радости приплясывая и гримасничая,— дело будет!

В последнее время администрация лагеря неохотно отправляла женские бригады на лесопильный завод. Движимые отнюдь не соображениями высокой морали, начальники остерегались объединять в общей зоне мужчин и женщин, справедливо опасаясь, что это может привести к дезорганизации на заводе. Но постоянная нехватка рабочей силы вынуждала иногда отступать от принципов. В данном случае начальство решило выйти из положения довольно оригинальным способом и прислало на лесобиржу бригаду лесбиянок в надежде, что заводские работяги не будут вызывать у женщин большого интереса.

Еще накануне заведующий лесобиржей, вольняшка, предупредил меня, что должна прийти бригада с одного из женских ОЛПов, и в случае его отсутствия велел поставить женщин на штабелевку досок.

Высокая женщина в первой паре оказалась бригадиром. Уж и не знаю, по каким приметам она вычислила, что я здесь оставлен за старшего. Она подошла ко мне, и мы быстро распределили вновь прибывших по штабелям, причем бригадирша позаботилась о том, чтобы пары не были разлучены. В это время ее собственная напарница сидела на бревне около конторки лесобиржи и безучастно взирала на происходящее вокруг. Бригадирша ее вообще ни на какую работу не отправила. Женщина скинула телогрейку и, жмурясь от удовольствия, грелась на солнце.

Я обошел район штабелей и убедился в том, что в звеньях строго соблюдалось правило: мужеподобные женщины исполняли наиболее тяжелую часть дела — подавали доски наверх, а их партнерши укладывали их на штабеле. Работа у женщин спорилась и шла не хуже, чем у мужчин.

Так случилось, что за день до описанных событий я получил от отца посылку, в которой был кусок отличного поперченного венгерского сала, и часть его взял с собой на работу. Воспользовавшись тем, что заведующий еще не пришел, я решил перекусить, вскипятил на плите чай и пригласил в компанию сидевшую возле конторки женщину. Не буду лицемерить, я надеялся кое-что выведать из секретов женской любви. Интерес к неизведанному вечно побуждал меня в лагере совать нос в то, что меня не касалось.

Вот и на этот раз, движимый любопытством, я попытался вызвать женщину на разговор. Сделать это было тем легче, что все мужчины нашей бригады, за исключением старичка дневального, устремились к штабелям и буквально липли к работающим женщинам. Впрочем, те не обращали на них никакого внимания, а охранявший их конвоир лениво отгонял назойливых ухажеров.

Женщина охотно откликнулась на мое приглашение и, сев рядом со мной за конторский стол, с удовольствием начала уписывать бутерброды. На одной из ее нежных, холеных ручек аккуратным, почти чертежным шрифтом, красной тушью была сделана наковка «зачем мальчики, когда есть пальчики», с восклицательным знаком на конце.

О том, что среди лагерниц встречаются лесбиянки, я знал и раньше, но никогда не подозревал, что из них формируются целые бригады. И вот представилась возможность проникнуть в их «жгучую тайну».

Поев и попив чай с сахаром, моя собеседница, точно понимая мой интерес и не ожидая особых вопросов с моей стороны, поведала мне за какой-нибудь час все, что связано с лагерной женской любовью, и дала полный отчет о быте, взаимоотношениях и психологии влюбленных.

Лагерные лесбиянки имеют мало общего с древними обитательницами острова Лесбос в Эгейском море. Принято считать, что женщины острова отличались не только безнравственным взаимным влечением, но и замечательной образованностью. На этом острове жила знаменитая поэтесса Сафо, прославившаяся своими любовными песнями. Жи-

тельницы лагеря были попроще, стихов они не писали и философской мудростью не обладали. Это были несчастные, обреченные на долгие годы затворничества и одиночества женщины, и природа толкала их на поиски компенсации. Разумеется, были среди них и носительницы сексуальной патологии еще с воли, но в большинстве случаев именно лагерь явился для них школой однополой любви, к которой они приобщились под руководством опытных наставниц.

Оказавшись в тяжких лагерных условиях, женщины стремились преодолеть чувство одиночества, найти верного друга и защитника, создать подобие нормальной жизни. Лагерницы творили в своем сознании некий миф, который перестраивал весь их внутренний и внешний облик. Немалую роль в обращении в новую веру играло и окружение, настойчивое повторение весьма распространенной в женской зоне формулы: «Для какого принца ты себя бережешь!», и молодые, житейски неопытные женщины, часто еще девушки, шли навстречу поползновениям их более взрослых и искушенных товарищей.

Моя собеседница явно испытывала удовольствие от спокойной беседы. Она рассказала и о себе. На воле она жила в уральском городе, где познакомилась с парнем, которого полюбила. Она знала о его уголовных делах, а может быть, в них и участвовала. Парень оказался, как она выразилась, слабак и, когда попался, не только не постарался выгородить подругу, но своими показаниями поспособствовал ее осуждению, и она получила десятку. Только один раз за время нашего разговора, когда речь зашла о предательстве бывшего возлюбленного, ее вообще-то очень спокойные голубые глаза сверкнули негодованием. Может быть, память об этом предательстве и толкнула ее к патологии.

Мы проговорили часа полтора, когда неожиданно с грохотом распахнулась дверь и в конторку влетела вся красная от бешенства бригадирша. Бросив на меня злобный взгляд, она грубо схватила подругу за руку и с криком поволокла ее прочь из комнаты.

— Падло,— кричала она,— как мужской запах унюхалась, так бежишь! Кадришься, сука!

Она бы, вероятно, и меня не пощадила, если бы в это время в комнате не находился дневальный лесобиржи, старичок Иван Иванович, присутствие которого создавало мне и моей собеседнице алиби.

— Ну и ведьма,— суммировал происшедшее дневальный, старый лагерник,— видывал я по лагерям много всего, но такой стервы не встречал!

Незадолго до этого дня в нашей бригаде появился новый заключенный, лет тридцати пяти. Он окончил актерское училище и работал до ареста в провинциальном театре. Это был высокий красивый малый, слегка сладковатой внешности, позволявшей ему на сцене и в жизни играть роль первого любовника. На воле он, по-видимому, был большой ходок по женской части и чувствовал себя совершенно неотразимым. Если верить его словам, в своем городе он пользовался немалым успехом. Человек он был весьма пустой и сидел, если мне не изменяет память, за злостное уклонение от уплаты алиментов. В бригаде он всегда заводил разговоры о женщинах, и, по всей видимости, ничто в жизни его больше не интересовало.

Прошло часа полтора после перерыва, и охранявший женщин конвоир, решив, что бригада обойдется и без него, ушел на заводскую вахту. Воспользовавшись этим, работяги из нашей бригады удвоили свои попытки познакомиться с женщинами, но те на них по-прежнему не обращали внимания. Разумеется, наш актер проявлял большую активность. Я счел нужным его предупредить, что это может для него плохо закончиться. Предупреждали его и другие старые лагерники, но он не унимался.

— Что вы мне мозги пудрите,— громогласно заявлял он,— бабы — всегда бабы и только бабы! Я-то их, слава богу, повидал на своем веку, знаю!

Во второй половине дня ревнивая бригадирша в наказание за беседу со мной поставила мою собеседницу на штабелевку, и та подавала доски наверх, а сама бригадирша их укладывала. При виде голубоглазой красотицы наш актер воодушевился и удвоил рвение. Проходя мимо работавшей пары, я снова предупредил его. Но актер ничего не хотел слышать. Распалившись, он схватил девушку за руку. Эффект был совершенно неожиданный. Бригадирша не сошла и не прыгнула, а буквально слетела со штабеля, в руке ее оказался нож, и она всадила его в спину актера. Начался переполох. Тут, на счастье, подоспел охранявший женщин солдат, бригаду немедленно увели, а актера положили на импровизированные носилки и отправили в лазарет.

Эта история имела и продолжение. В зоне бригадирша избила свою возлюбленную так, что та провалялась почти две недели. Видимо, начальству надоели вечные драки и сцены ревности в женской зоне, и оно решило разлучить партнеров. Бригаду лесбиянок привезли на пересылку и попытались частично отправить на этап. Последовала душераздирающая сцена. Любящие сопротивлялись конвойным, которые пытались их растащить. Они кричали, рыдали, дрались с надзирателями, пока на них не надели наручники. Особенно яростно за свою лагерную семью боролась бывшая бригадирша, еще совсем недавно так жестоко расправившаяся со своей возлюбленной. Разрушалась семья, естественная основа всякого общества, хранительницей которой испокон веков была женщина. Пусть это была всего лишь трагическая иллюзия семьи, сложившийся в сознании ее прообраз — послушная извечному голосу инстинкта женщина, забыв все на свете, ринулась ее защищать. Разумеется, победа осталась за конвоєм, и женщин разлучили. Позднее бригадирша несколько раз пыталась покончить с собой, и ее, всю израненную, дважды привозили к нам в лазарет, около которого я ее и видел. Конвой бдително ее охранял. За какой-нибудь месяц она страшно изменилась. Высокая, сильная, подтянутая женщина превратилась в согбенную дряхлую старуху, смотревшую по сторонам невидящими глазами.

Актера подлечили, и когда он вышел на работу, о женщинах он более не распространялся.

НАУКА И ЖИЗНЬ

Бригадир в лагере — фигура, наделенная большой властью, не случайно его величают маршалом. Он в значительной мере вершит судьбы работяг, определяя условия труда, от которых часто зависит не только их здоровье, но и жизнь. Дабы обеспечить им заработок, вернее, более или менее сносное питание, бригадир вынужден идти на всевозможные ухищрения и приписки. Неизвестно когда и кем выдуманные нормы почти всегда невыполнимы. Это заставляет составителя рабочего описания всячески изворачиваться и жульничать, иначе говоря, туфтить. Поэтому, оказавшись в роли бригадира, человек честный должен решать для себя серьезную моральную проблему: придерживаться ли привычных

этических норм или пересмотреть их, повинаясь требованиям реальности. Патологическая ситуация выворачивает формальную этику, ибо речь идет о жизни людей, а обманывать нужно тех, кто на нее посягает.

Я однажды был свидетелем, как проверявший рабочие описания контрольный мастер, человек, не лишенный чувства юмора, сказал бригадиру лесобиржи:

— Слушай, В., твоя бригада убрала с лесовозных дорог весь снег, выпавший в этом году в Архангельской области. Так ты уж, пожалуйста, оставь снег Вологодской области для других бригад!

Еще сложнее роль и ответственность бригадира при составлении описания работы, итог которой проходит по заводской отчетности и бухгалтерской документации. В этом случае приходится особенно бдительно следить за тем, чтобы между всеми документами была согласованность, иначе приписки могут быть вскрыты.

Одним из наиболее трудоемких видов работы на лесопильном заводе была погрузка в вагоны готовых пиломатериалов. Эта работа производилась вручную без каких-либо вспомогательных механизмов. Три человека за три часа должны были загрузить четырехосный пульман, соблюдая при этом многочисленные железнодорожные правила и ограничения. Работа эта требует не только некоторой ловкости и навыков, но и большой затраты физической силы. Поэтому бригадир грузчиков всегда озабочен тем, чтобы они получали повышенную пайку. Ему без приписок не обойтись. Один из самых простых и распространенных видов приписки — завышение объема погруженного в вагон пиломатериала. Чем больше погружено, тем выше заработок грузчика. Скажем, погрузили в вагон 48 кубометров досок, а учетчик указывает в сопроводительных документах 54 или даже 56. От подобных приписок страдает потребитель, который оплачивает пиломатериал по документам.

Большие предприятия получают ежемесячно сотни вагонов с пиломатериалами и, естественно, не имеют возможности и времени проточковать доски в каждом конкретном вагоне и подсчитать их общую кубатуру. Поэтому на тех больших предприятиях, куда мы отправляли свою продукцию, раз в полгода или в год производили для острастки выборочную проверку одного или двух вагонов, а все остальное время без звука подписывали и оплачивали завод-

скую туфту. Весьма редко к нам на завод присылались рекламации с жалобой на недогруз вагонов и на несоответствие документации истинному объему полученной продукции. Если же подобную проверку и учинял какой-либо дотошный заведующий хозяйственной частью небольшого предприятия — тогда при следующей отправки ему досылали недогруженное. Все к этой туфте привыкли, и никого это не возмущало.

Систематический недогруз отправляемых потребителям вагонов приводил к тому, что на лесобирже скапливались тысячи кубометров излишков, никак не зафиксированных ни в бухгалтерии, ни в плановом отделе заводского и общелагерного управления. Разумеется, заводские начальники об этих излишках прекрасно знали, но до времени закрывали глаза на деятельность лесобиржи и погрузки. Раз в месяц или раз в несколько месяцев, особенно когда завод не выполнял план, начальник завода вызывал к себе заведующего лесобиржей или десятника и требовал, чтобы тот подписал фиктивный документ о получении лесобиржей от лесоцеха тысячи кубометров разного рода пилопродукции, дабы на этом основании рапортовать в высшие инстанции о перевыполнении плана.

Обычно разговор с начальником завода происходил примерно так:

— Что-то у тебя там на лесобирже много излишков! Ты что, вагоны недогружаешь?

— Что вы, гражданин начальник, мы все грузим честно.

— А ты знаешь, что за недогруз и умышленное создание излишков можно пойти под суд? Тебе что, твоего срока мало?

— Да нет, гражданин начальник, вероятно, лесоцех ошибочно указал объем переданной бирже готовой продукции.

— Мать твою, туфтите вы все там. Вот всыплю я вам!

— Ну, может быть, в какой вагон и не догрузили. Рекламаций пока не было.

— Ладно, ладно, я все знаю. Надо вернуть цеху то, что вы у него взяли. Сколько кубометров даешь в план?

— Ну, может, пару тысяч кубометров.

— Ты что, смеешься надо мной! Восемь тысяч, не меньше!

Начиналась обычно долгая торговля, после чего составлялся акт о приемке биржей от лесосека огромной партии якобы произведенной заводом пилопродукции.

Но во всей этой хорошо отработанной деятельности по производству и отправке потребителю воздуха было одно уязвимое место. Количество пиловочника, поступавшего на завод с лесоповальных ОЛПов, было фиксировано. При нормальной и честной работе лесопильного завода, с учетом потерь на опилки, горбыль и другие отходы, полезный выход пиломатериалов должен был составлять примерно 65—67% переработанного пиловочника. В результате же приписок он достигал цифры выше 70%.

И вот однажды зимой меня, тогда десятника лесобиржи, вызвал начальник завода и протянул какую-то бумагу.

— Читай!

Это был приказ начальника ГУЛПа — Главного управления лагерей лесной промышленности, подписанный также и министром лесной промышленности Орловым. В нем значилось, что целый ряд заводов, среди которых фигурировал и номер нашего завода, благодаря умелой организации труда добились рекордного процента выхода полезной пилопродукции. В конце предлагалось распространить опыт этих заводов на все предприятия лесной промышленности, в том числе и на леспромхозы, где работали вольные. Отныне высокий процент, достигнутый на нашем заводе, становился обязательным для всех лесопильных заводов страны.

Я посмотрел вопросительно на начальника. В лице его не было радости, несмотря на то, что наш завод был отмечен среди лучших. Как всякий северянин, всю жизнь проработавший в лесной промышленности, он прекрасно понимал абсурдность полученного приказа.

— Ну теперь смотри, чтобы все было в порядке! — сказал он и дал мне понять, что все надежды завода основаны на моей туфте при погрузке, но что он за нее никакой ответственности нести не собирается, а отвечать буду только я.

Месяца через два меня вызвали к начальнику завода.

— Ты там, кажется, кандидат наук, — изрек он. — Тут приехали из Ленинграда изучать наш производственный опыт твои шибко грамотные ученые. Вот ты и побеседуй с ними, — и он поглядел на меня не без иронии.

Действительно, как выяснилось, из какого-то ленинградского научно-исследовательского института приехали четыре человека, дабы обобщить наш замечательный опыт в форме соответствующего научного отчета. Они пришли ко мне в конторку лесобиржи, трое сели передо мной за стол, вынули бумагу и приготовились записывать ответы на свои вопросы. Четвертый, постарше, как я помню, молча стоял у окна.

Я принялся объяснять причины нашего мнимого успеха, выражаясь по-лагерному, раскидывая чернуху, то есть сообщая им заведомо ложные сведения. Оказывается, каждые полчаса мы останавливаем в лесоцехе лесопильную раму и точим пилы, что уменьшает количество опилок, на пилораму мы подаем из сортировочного бассейна пиловочник строго по диаметру, максимально выгодному и экономному при производстве конкретного ассортимента пиломатериалов, что уменьшает размер отходов от горбыля, добиваемся сокращения отходов за счет производства низких сортов и так далее. Мои гости все аккуратно записывали. Прошло часа два, и молодые люди вышли покурить. Остался лишь старший.

— Ну так как же вы делаете? За счет погрузки? — спросил он.

— Да, — чистосердечно сознался я, не видя особых причин для утверждения истинности своих фантастических рассказов.

— Ну, конечно! Я всю жизнь работаю по лесному делу. Молодежь этого не понимает. Бревно как ни распили, будет все тот же процент опилок. Это знает всякий опытный мастер леса.

Помолчали.

— Сидишь-то давно?

— Шестой год.

— А всего-то сроку?

— Десятка.

— По пятьдесят восьмой?

— Да.

— У меня самого брат сидит на Воркуте по пятьдесят восьмой. С начальством не поладил. Такая уж наша жизнь. Куришь?

— Да.

Он протянул мне нераспечатанную пачку сигарет. Мы бы и дольше беседовали, но вернулись молодые люди. У меня не было большого желания продолжать с ними разговор, и я постарался побыстрее его закончить.

ЧУЖАК

«Кавказ привезли», — однажды зимним вечером объявил дневальный, входя в барак. Я вышел на улицу и увидел большую колонну смуглых людей, ожидавших, когда кончится проверка и их запустят в расположенный внутри зоны, огороженный забором карантин. Вскоре все выяснилось — пришел этап из Армении, большую часть которого сразу же по прибытии отправили на лесоповальные ОЛПы в глубинку.

На территории нашего лагпункта находился центральный госпиталь, куда привозили со всех лагпунктов больных и покалеченных на лесоразработках. Травматических повреждений во время лесоповала было много, зимой часто лес рублили по пояс в снегу, и не всегда можно было вовремя вернуться от огромных сучьев падающего дерева.

Месяца через два после прибытия кавказского этапа я проходил мимо госпиталя и услышал, как санитар пытался что-то объяснить человеку кавказского облика, а тот лишь беспомощно разводил руками. Поблизости не было никого, кто мог бы ему помочь, и я с некоторым удивлением посмотрел на человека, не знающего ни одного русского слова. И вдруг я отчетливо услышал французскую речь: «Же не компран па» («Я не понимаю»).

Я заинтересовался происходящим, подошел, а незнакомец, поняв, что я знаю язык, вцепился в меня и залопотал. Я перевел, что было надо. Оказалось, речь шла о пустяках: армянин выписался из госпиталя, и санитар требовал у него больничное белье.

Дня через два я возвращался с работы и вновь встретил в зоне моего нового знакомого. Он кинулся ко мне. Это был человек лет сорока пяти, небольшого роста, с милым и простодушным лицом. Я пригласил его к себе домой, то есть, иначе говоря, в свой барак, угостил чаем, и он, усевшись на нарах, рассказал мне о своей судьбе.

Арам родился в Сирии. После окончания войны 1914 — 1918 годов Франция получила мандат Лиги Наций на уп-

правление двумя областями распавшейся Османской империи — Сирией и Ливаном, и там расположились оккупационные французские войска. Окончив армянскую школу, Арам поступил на службу во французскую армию не то в качестве счетного работника, не то интенданта и проработал в этой должности более пятнадцати лет.

После второй мировой войны Сирия обрела независимость, французские войска были выведены из страны, и Арам оказался без работы. В качестве чиновника, много лет служившего во французской армии, он получил французское гражданство и мог уехать во Францию. Но в это время советское посольство в Дамаске развернуло в армянских общинах страны активную пропагандистскую деятельность. Арам поддался пропаганде и решил репатриироваться в Советскую Армению.

— Я всю свою жизнь мечтал возвратиться в страну моих предков,— говорил Арам со слезами на глазах,— когда в Советском посольстве мне сообщили, что я включен в число нескольких сот армян, которым разрешили уехать в Армению, я плакал от радости.

В Ереване у Арама возникли трудности. Какой-либо подходящей специальности у Арама не было, что ограничивало возможности выбора. Его направили в торговлю. Честный, привыкший к коммерческой деятельности в условиях капиталистического общества, он с первых же шагов оказался неспособным ориентироваться в новых условиях. Ему поручили заведование небольшим промтоварным магазином, и он полностью доверился подчиненным продавцам, которые его обманывали на каждом шагу. В магазине обнаружилась крупная недостача.

— У нас в Сирии,— говорил Арам,— коммерсанты верили друг другу без всяких расписок. Если бы торговец позволил себе обман и это стало бы известно в деловом мире, ни один уважающий себя коммерсант с ним бы больше никогда б дела не имел. Я и здесь доверял деньги и товар без документов, когда же дело дошло до ревизии, все вокруг от своих слов и обязательств отреклось, и я оказался вором и растратчиком.

Казалось бы, учитывая неопытность Арама и незнание наших законов, его бы следовало не наказывать, а просто освободить от неподходящей для него работы. Однако начальство, которому Арам никогда не делал подношений и

которое, видимо, желало свалить на Арама свои собственные грехи, рассудило иначе. Арама судили по знаменитому указу о наказании за государственные хищения, и он получил шесть лет лагерей строгого режима. Он был отправлен на лесоповальный лагпункт, во время работы в лесу получил травму и попал в госпиталь, где мы и познакомились. Теперь его выписали в нашу зону.

Меня всегда поражала страшная неэффективность лагерных лесоразработок. Вырубка леса производилась самым варварским способом. Лес рубили круглый год, причем на огромной территории, квадрат за квадратом убирали все деревья, вплоть до совсем молодых, толщиной в десять — пятнадцать сантиметров. На вырубленных участках оставалась пустыня, которая быстро заболачивалась. С сатанинским усердием лагерное (и лесопромхозовское!) начальство стремилось очистить от леса как можно большее пространство. А между тем в Архангельской области много болот, и вывозка леса возможна только в зимнее время. Значительную часть пиловочника, по моим расчетам, не менее тридцати процентов, до весны вывезти не успевали, срубленный лес оставался на много месяцев на болоте и к следующей зиме гнивал. Таким образом, тяжкий труд заключенных оказывался к тому же и бессмысленным.

Ко времени моего приезда в лагерь лес валили еще при помощи лучковых пил, перешедших к нам, как говорили, от финнов. Для обращения с ними нужен был навык, возникавший лишь в результате длительной практики, а поначалу, без должного опыта, работа с ними была сплошным мучением. Тонкое лезвие пилы все время зажималось стволом дерева. Нормы были огромные и для непривычных людей совершенно невыполнимые. Даже опытные архангельские лесорубы с большим трудом выполняли эти нормы. Если к этому прибавить, что от жилой зоны до места работы заключенные должны были пройти много километров, под конвоем, часто по болотистой местности, то и дело проваливаясь в холодную жижу, голодные и плохо одетые, то станет понятно, почему через несколько месяцев такого труда неопытные работяги часто становились инвалидами.

Сама по себе идея мудрых диспетчеров ГУЛАГа отправить суровой северной зимой непривычных к работе в лесу южан на лесоразработки в архангельскую тайгу свидетель-

ствовала не столько о бюрократической нелепости, сколько о поразительной жестокости. Привезенных из Армении заключенных кое-как одели и начали гонять ежедневно за шесть-семь километров на лесоповал. Конечно, значительная часть прибывших вскоре оказалась нетрудоспособной.

Положение Арама на нашем лагунке также было не легким. Армян у нас почти не осталось, и разговаривать ему было не с кем. Его послали работать на продовольственную базу, где он таскал мешки с мукой, ящики с овощами и консервами и вообще все, что придется. На каждом шагу его ругали за нерасторопность, и он горько жаловался на оскорбления, которые ему ежедневно приходилось переносить и от других заключенных и от начальства. К счастью, он их речь плохо понимал.

Почти каждый вечер Арам приходил ко мне в барак, чтобы переброситься парой слов. Хотя он родился и вырос в арабской стране, сирийский арабский диалект он знал плохо, ибо имел дело главным образом с французской военной администрацией. Тем не менее он мог много рассказать о стране, в которой жил, и мне как востоковеду было интересно его слушать. Я даже наметил для себя ряд интересующих меня тем и допрашивал его по каждой из них.

Однажды Арам пришел ко мне радостный и сообщил, что его этапируют в Ереван для пересмотра дела. Он был уверен, что теперь его несомненно освободят. Зная наши нравы, я был настроен менее оптимистически, однако виду не показал, и мы попрощались.

Прошло месяца четыре, и однажды вечером возле моих нар вновь появился Арам. За сравнительно короткий срок он сильно изменился — осунулся, постарел и поседел. Он поведал мне, что вместо того чтобы пересмотреть его дело, на него было заведено новое. По навету местных торговых работников прокурор предъявил ему обвинение в каких-то вновь открывшихся хищениях, к которым якобы в прошлом он был причастен. Этим, как он мне объяснял, начальство старалось замаскировать свои собственные воровские махинации. После того как его несколько месяцев мучил следователь, дело было передано в суд. Однако судья отказался признать его виновным, и он вернулся в лагерь со старым сроком. За полтора года, проведенных Арамом в тюрьме и в лагере, у него умерли, не сумев пережить арест сына,

приехавшие с ним из Сирии старики родители, а жена, уроженка Еревана, с ним разошлась, забрав с собой ребенка. Арам остался один на всем свете.

— Всю жизнь я был чужим для тех, среди кого жил, — с грустью говорил мне Арам. — Как армянин и служащий французской армии я был иностранцем в Сирии. Я надеялся почувствовать себя своим, приехав в Армению, но и этого не случилось. Хотя я говорил в Ереване на родном языке, я был для местных жителей человеком, свалившимся с другой планеты. Понять их до конца я так и не смог, равно как и они меня. Я был для них капиталист, не знакомый с их жизненным укладом, а они были для меня загадочными существами с непонятной для меня моралью. Ну а в тюрьме и в лагере я и вовсе всем чужой и по языку, и по мыслям, и по поведению. Что за судьба!

Я хорошо понимал этого вечного чужестранца!

Вскоре после смерти Сталина последовала амнистия по уголовным делам, и Арама освободили. Прощаясь, он меня утешал:

— Сталин умер, вскоре и вы будете на свободе!

Я лишь скептически пожал плечами. Из суеверия я гнал от себя подобные мысли.

Прошло лет шесть. Я давно уже освободился и работал в Институте востоковедения. Однажды секретарша нашего отдела сказала, что накануне в мое отсутствие приходил какой-то восточного вида человек, спрашивал меня и оставил письмо. Восточные люди часто заходили в институт, и в этом не было ничего удивительного.

Я распечатал письмо. В нем красивым бисерным почерком по-французски было написано, что мой старый лагерный знакомый Арам неоднократно пытался меня разыскать, узнал в Ереване от местного востоковеда, что я работаю в институте, и сожалеет, что не сумел со мной повидаться. Он писал, что никогда не забудет о моральной поддержке, которую я ему оказал в трудную минуту. В Москве он проездом, навсегда уезжает во Францию и желает мне всяческих благ.

«Но обретет ли Арам во Франции новую родину или опять окажется «посторонним»?» — подумал я.

Больше я об Араме ничего не слышал.

ШУТКА

В тот год лето выдалось необычно для севера теплым, а когда нас пригнали с работы, было просто жарко. Раздевшись до трусов, я выскочил на крыльцо барака и устроил себе нечто вроде душа, черпая воду ковшом из бачка и обливаясь. Молодой дневальный проявлял ко мне особую снисходительность, разрешая столь щедро расточать воду, которую ему приходилось таскать ведрами с другого конца зоны. Но к этому времени мой лагерный стаж уже исчислялся годами, с дневальным я жил «вась-вась», то есть, говоря по-человечески, находился в дружеских отношениях, поэтому он спокойно взирал на мое занятие.

Освежившись, я залез на верхний этаж барачной вагонки, где в то время располагалась моя резиденция, извлек из-под матраца припрятанную еще со вчерашнего вечера книжку и отключился. Минут через сорок я отложил книгу и сделал дневальному знак, призывая его. Стремясь внести разнообразие в свое тоскливое бытие, лагерники вне зависимости от возраста часто предавались какой-нибудь странной шутовской игре. Вот и на этот раз, правильно поняв мой жест, дневальный, кривляясь и разыгрывая ревностного слугу, устремился ко мне со всех ног и вытянулся рядом по стойке «смирно».

«Воды», — грозным тоном повелителя приказал я.

«Бу zde!» — прорычал на весь барак дневальный и ринулся бегом исполнять команду. Напившись воды и возвратив дневальному кружку, я крикнул:

«Пшел вон!»

Полностью войдя в роль, дневальный заорал еще громче: «Слуш. гражд. чайник!» и, привстав на носки, «на цырлах» бросился прочь.

Увлеченный этим обычным лагерным спектаклем, я не обращал внимания на человека, лежавшего в противоположном углу барака на нижних нарах и напряженно следившего за мною. Примерно через час, незадолго до сигнала отбоя, я вышел на крыльцо, поглощенный своими мыслями, и усталился на надоевшую за многие годы картину: запретку с колючей проволокой, будку туалета, на солдата с автоматом на вышке. Но тут мои грустные размышления были прерваны заискивающим «Здравствуйте!». Я оглянулся и увидел молодого парня, лет двадцати, который искательно

смотрел на меня. «Здорово», — ответил я, удивленный непривычным для лагерника обращением. «Вот, угощайтесь», — сказал молодой человек и протянул несколько карамелек в бумажной обертке.

Не в правилах старого лагерника отказываться от дарового угощения, тем более сладкого, и я с удовольствием им воспользовался. «Ты что, недавно приехал?» — спросил я. Молодой человек отрекомендовался и охотно рассказал о себе. Павел К., москвич, служил где-то в воинской части, уж и не помню за что, по какой-то бытовой статье получил шестилетний срок, накануне вышел из карантина, был направлен нарядчиком в нашу бригаду и потому оказался со мной в одном бараке.

Причину особого ко мне интереса и расположения парня мне удалось выяснить лишь позднее. Оказывается, в тюрьме он наслышался рассказов о жизни в лагере, о блатных и их предводителях «в законе» и, глядя на сцену, разыгранную мною с дневальным, решил, что я и есть «первый блатной». Желая обрести в будущем мое покровительство, он действовал, как ему казалось, соответствующим образом.

В бригаде Павла сразу невзлюбили. Был он трусоват, заискивал перед надзирателями и различными начальниками, поговаривали даже, что водил дружбу с кумом, то есть попросту был лагерным осведомителем. Но что более всего раздражало всех в бригаде, так это его безудержное хвастовство о действительных или мнимых любовных победах на воле. Вообще-то лагерники не прочь рассказать о своих любовных похождениях и при этом приврать, но Павел переходил в этом всякие границы.

Мысль сыграть с Павлом шутку принадлежала мне, в чем впоследствии я очень раскаивался. «Давайте напишем и отправим ему письмо от имени одной из его возлюбленных», — предложил я. Идея была встречена в бригаде с восторгом. Особенно меня поддержал бригадир.

Следует пояснить, что в то время в нашем лагере заключенный мог получать с воли сколько угодно писем, но размер отправляемой им на волю корреспонденции был строго ограничен и вся переписка официально проходила через лагерного цензора, должность которого обычно исполняли члены семей надзорсостава. К своим обязанностям они относились крайне нерадиво, и по их вине часть писем вообще пропадала. Однако все мы, работавшие на лесопильном за-

воде, фактически могли отправлять столько писем, сколько хотели. Делалось это, разумеется, нелегально. Во время погрузки пиловочника предназначенные к отправке письма перевязывались и весь пакет аккуратно укладывался в укромном месте между досками. После погрузки вагоны проверялись надзором, но, разумеется, пролезть во все щели между уложенным пиломатериалом надзиратели не могли. Важно было хорошо знать, куда отправлялся тот или иной вагон, что мне как бракеру было, конечно, известно. Рабочие, разгружавшие вагоны в местах назначения и обнаруживавшие наши письма, опускали их в почтовый ящик. К чести рабочего народа надо отметить, что за все годы моей работы на лесозаводе был только один случай, когда письма были переданы «куда надо», в результате чего было проведено особое следствие и большая группа заключенных была на длительный срок лишена права переписки. Но этот прокол был связан с тем, что бригадир, не разобравшись, сунул нашу почту в вагон, предназначенный какому-то почтовому ящику МВД. Чаще всего мы отправляли письма с вагонами, которые шли на автомобильный завод им. Сталина (ныне ЗИЛ). Один раз грузчики даже написали на досках углем слова благодарности рабочим завода.

Сочинить Павлу письмо от имени его легендарной возлюбленной большого труда не составляло. В этом принимали участие почти все члены бригады, а писал письмо под диктовку корявым почерком бригадир. Текст письма почти полностью был основан на тех сведениях, которые непрерывным потоком поступали от самого Павла. Насколько я помню, письмо начиналось так: «Дорогой Павел! Я случайно узнала о твоей горькой судьбе. Ты сидишь в лагере, и твой адрес мне дала моя подруга (следовало одно из упомянутых Павлом женских имен). А помнишь наши золотые дни, как мы гуляли в Сокольническом парке...» Далее шло описание любовных свиданий. Завершалось послание клятвенными обещаниями возлюбленной сохранять Павлу верность до гроба и традиционными словами «Жду ответа, как соловей лета». Снабженное вымышленным московским адресом письмо было положено в доски, в Москве брошено в почтовый ящик и с московским штампом прибыло к адресату.

Тут Павел в буквальном смысле этого слова выиграл. Он бегал по зоне, показывал всем письмо, без конца повторял: «Вот вы не верили, говорили, что я вру, а вот она

пишет...» От гордости он просто рос на глазах. Тут же он припоминал все новые и новые эпизоды из истории своих отношений с девицей. Самое потрясающее заключалось в том, что он полностью верил в эти вымыслы. Я понял, что зарвался, и с ужасом думал о том, что будет с Павлом, когда вся эта история раскроется.

А между тем все участники розыгрыша побуждали героя все к новым свершениям. «Пиши, Пашка, ответ,— говорили в бригаде,— и мы его отправим». Два дня подряд при активном содействии всей бригады Павел сочинял ответ своей возлюбленной. Несмотря на злобную ругань начальства, штабелевка досок и погрузка вагонов велись в эти дни кое-как. Все вкладывали в сочинение письма душу, как будто писали своим собственным возлюбленным. И каких только стилистических красот в этом письме не было! Клятвы верности перемежались с угрозами жестоко расправиться с вероломной возлюбленной за измену, любовные признания сопровождалась ярчайшими описаниями былых свиданий. Словом, это был шедевр эпистолярного стиля, которому мог бы позавидовать и сам Сирано де Бержерак. К сожалению, никто этого письма так и не прочитал, ибо мы его изорвали, но сразу же сочинили не менее красочный ответ, и примерно через месяц наше послание, завершив свое путешествие через Москву, достигло адресата.

Между Павлом и нами, как говорится в романах, завязалась оживленная переписка. Каждое новое письмо Павла было для его коллективного корреспондента праздником. Острые на язык и не лишенные чувства юмора уголовники придумывали все новые и новые эпизоды и ситуации во взаимоотношениях Павла с его возлюбленной. В свою очередь, непрерывно хвастаясь, сам Павел снабжал участников розыгрыша обильным свежим материалом. Словом, можно сказать, что обе стороны, одна сознательно, а другая бессознательно, соучаствовали в создании грандиозного, богатого деталями мифа. Я страстно желал положить конец этой далеко зашедшей жестокой шутке, но, когда я однажды попробовал об этом заговорить, меня хотя и в вежливой форме, но вместе с тем достаточно твердо предупредили, чтобы я не вмешивался, а иначе мне несдобровать.

Кто-то из зека пожертвовал фотографию, на которой была изображена женщина лет сорока. С трогательной надписью она была послана Павлу, и бедняга до такой степени

«вошел в роль», что публично признал подлинность изображенной на ней возлюбленной. «Приглядишься повнимательней, — зубоскалили участники розыгрыша, — она ли это?» — «Она, она, — кричал Павел, — мы с ней...» И далее следовал новый рассказ о свиданиях, разговорах, изменах и примирениях.

По мере формирования мифа всплыли подробности и о родителях девицы. Оказалось, что отец ее — генерал-полковник, командующий каким-то легендарным «особым» военным округом, квартира у ее семьи находится в центре города, «где-то на Садовой», и состоит из трех, нет, нет, четырех комнат (фантазии бедного лагерника на большее не хватило). «Может, он маршал?» — с постным видом, сочувственно спрашивал бригадир. «Нет, нет, генерал-полковник, я точно знаю», — волнуясь, выкрикивал Павел.

У кого-то возникла идея прислать Павлу от возлюбленной посылку. Дело было сработано довольно грубо. В поселке в магазинчике для вольных один из бесконвойников купил дешевые конфеты, карамель, подобные тем, которыми угощал меня Павел в день нашего знакомства, буханку белого хлеба и какое-то дешевое печенье. Все это было аккуратно упаковано и снабжено трогательным письмом. Дождавшись возвращения Павла с работы, один из оставленных для этой цели в жилой зоне зека принес Павлу посылку, объявив, что она была получена днем, когда Павел был на работе. Все, как говорится, «было шито белыми нитками», но Павел уже ничего не замечал и всему верил. «Что ж это твоя генеральская дочь так расщедрилась, — сочувственно спрашивал Павла бригадир, — не могла прислать тебе бациллы (то есть что-либо из еды) пожирнее!»

На каком-то этапе возлюбленная выразила желание выйти за Павла замуж. Однако все в бригаде шумно протестовали. Под давлением общественности Павел вынужден был отвергнуть предложение. «Зачем она мне, я сумею выбрать и получше», — уверял он всех вокруг. Подобного отношения к себе возлюбленная, разумеется, перенести не могла. Начались взаимные упреки, обвинения, сменившиеся вскоре клятвами и новыми объяснениями в любви.

Эпистолярное мастерство сторон все росло. Новый импульс к переписке был дан появлением соперницы. Пришло письмо от другой девицы, на которой Павел некогда обещал жениться, соперницы познакомились, и между ними возник

конфликт. Почерк у обеих женщин оказался до удивления сходным, на что кто-то обратил внимание Павла. «Ну, бывает», — сказал он. Однажды соперницы даже подрались, и утихомирить их удалось только наряду милиции. В другой раз, приревновав, возлюбленная Павла пыталась покончить с собой. Всплывали все новые эпизоды из прошлого. Обе стороны как бы состязались в припоминании подробностей их сложных отношений, психологическая достоверность которых могла быть подтверждена всей мировой классической литературой.

Строгий читатель, исходя из высоких принципов гуманизма, вероятно, сурово осудит всех участников жестокого розыгрыша и будет, конечно, прав. Отнюдь не в оправдание, но лишь в объяснение хотелось бы заметить, что запертые на долгие годы в ограниченном пространстве лагерной зоны, погруженные в опостылевшую, состоявшую из тяжелого труда и сна рутину, заключенные ищут отвлечения в самых различных, порой крайне жестоких формах. Издевательство над человеком, проявляющим слабость, для лагерников — дело обычное. Горе тому, кого житейская неопытность или какой-либо физический или, может быть, душевный изъян втянет в водоворот этого своеобразного лагерного карнавала.

Финал рассказанной мною истории был достаточно трагичен. Как-то раз, рассердившись на Павла, истеричный и склонный к приступам бешенства бригадир выложил герою всю правду о его любовной переписке. Павел ничего не сказал. Он попросил перевести его в другую бригаду, ушел из нашего барака, весь сжался и притих. Миф, поддерживавший его более года в суровой лагерной жизни, рассыпался. Многие месяцы он ни с кем не разговаривал, и никто из обычно беспощадных лагерников не вспоминал при нем о происшедшем.

МОИСЕЙ

Когда немецкие войска в 1939 году подходили к Варшаве, мать сказала Моисею:

— Уходи на восток к русским, а я уж с маленьким останусь. Я все равно не дойду. Пусть будет, что будет.

Семнадцатилетний юноша отправился навстречу Советской Армии и после прекращения военных действий оказался в той части Польши, которая была занята советскими

войсками. Беспокоясь о судьбе матери и шестимесячного братишки, Моисей месяца через четыре обратился к властям с просьбой разрешить ему возвратиться в Варшаву. Последовал отказ. Тогда Моисей решил действовать на свой страх и риск. Он попытался нелегально пересечь установившуюся границу, его задержали, судили и «за попытку изменить родине» приговорили к семи годам исправительно-трудовых лагерей.

Почти не владеющему русским языком и незнакомому с жизнью в Советском Союзе молодому человеку в лагере пришлось особенно трудно. Моисей работал землекопом на строительстве каких-то объектов Беломоро-Балтийского канала, а с начала войны его, как и других заключенных, перегнали пешеходным этапом в один из лагерей Архангельской области. В дороге многие погибли, однако молодой и от природы крепкий юноша выжил. Он работал на лесоповале, голод и тяжелые условия труда превратили его в доходягу, и он был списан из производственной бригады в лагерную службу. Но тут среди заключенных нашлись добрые люди, которые устроили его в портняжный цех на вспомогательную работу и обучили ремеслу. Он штопал лагерные бушлаты и телогрейки, шил варежки и со временем овладел портняжным искусством. Здоровье постепенно восстанавливалось.

В 1946 году Моисей вышел на свободу, поселился в Архангельске и устроился на работу по обретенной в лагере специальности. Однако мысль о возвращении на родину его не покидала. Вдобавок выяснилось, что его отец сумел выжить под немецкой оккупацией и после войны перебрался в Палестину. Все старания что-либо узнать о судьбе матери и брата оказались безуспешными, и Моисей решил предпринять новую попытку добраться до Варшавы. В это время проживавшие на территории Советского Союза выходцы из Польши организовали специальный комитет по репатриации. Однако просуществовал этот комитет всего несколько месяцев. Вскоре его руководство в полном составе было арестовано, а позднее аресты пошли и среди рядовых членов. Был арестован и Моисей. Он и на этот раз получил семь лет и оказался в нашем лагере.

Беседовать с Моисеем было очень интересно, ибо его лагерный опыт был до известной степени опосредствован опытом человека, выросшего в иной социальной и культур-

ной среде. Хотя он начал свой скорбный путь еще очень молодым и большая часть его сознательной жизни прошла по лагерям и тюрьмам, он не стал закоренелым лагерником с блатными замашками. На все происходившее в лагере он смотрел как бы со стороны. Своим слегка хриплым голосом с сильным польско-еврейским акцентом он рассказывал мне о своих детских годах в панской, как он иронически подчеркивал, Польше и о бесчисленных мытарствах в годы заключения. По натуре цепкий, он без какой-либо помощи извне в чужой стране сумел приспособиться к лагерной жизни. Работая портным на подсобной площадке, он выполнял иногда несложные заказы вольных и имел небольшой доход, позволявший ему кое-что купить в магазине за зоной. Был он практичен, но не жаден, умел себя держать среди уголовников, не заискивая и не заносясь, а когда это было надо, мог за себя постоять. Были в нем и какая-то патриархальность и доброта, он мог и пожалеть и помочь. Я помню, как он привязался к одному мелкому воришке-земляку, подкармливал его и воспитывал. Однажды, избалованный заботой своего доброго наставника, тот обратился к Моисею с просьбой дать ему денег на покупку каких-то коврижек, которые продавались за зоной в местном магазине.

— Если бы ты попросил денег на хлеб, я бы тебе дал, — ответил Моисей, — а на коврижки пойдешь и заработай сам!

Меня Моисей облагодетельствовал по собственной инициативе и без какой-либо компенсации с моей стороны. Он сшил мне из каких-то лоскутов нечто вроде кепки, в которой я прощеголял добрых полсрока.

Была у Моисея еще одна удивительная черта — жажда знаний, которая ничуть не носила показного характера. Однажды вечером после работы я обратил внимание на Моисея, лежавшего в углу барака и что-то читавшего. Электрическая лампочка под потолком очень слабо освещала небольшое пространство. В помощь Моисей зажег свечку и закрепил ее над головой так, чтобы она отбрасывала свет на книгу. Кругом стоял гул от разговоров, смеха и ругани, а Моисей, обмотав голову полотенцем, полностью отключился от жизни барака.

Я подошел к Моисею и спросил, что он читает. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что предметом его интереса была знаменитая, недоброй памяти трехтомная

«История философии» под редакцией Александрова, второй том которой и был у него в руках.

— Зачем ты читаешь эту халтуру, ведь здесь вся история философии сводится к примитивной и пошлой идее о какой-то извечной борьбе материализма с идеализмом? — удивился я.

— Я все понимаю, — ответил Моисей, — но, видишь ли, я ведь не сумел получить образования. С семнадцати лет по тюрьмам и лагерям. А хочется хоть что-то узнать. Другого ведь ничего нет.

После смерти Сталина и ареста Берии положение в лагере начало меняться. Были введены зачеты. И вот однажды ко мне подошел Моисей и попросил взять его в бригаду грузчиков, которую я тогда возглавлял. Я удивился и спросил, зачем это ему надо.

— Мне осталось сидеть два года, а у грузчиков зачеты один к трем. Я сумею месяцев за восемь отмотаться, — объяснил он.

— Но грузчиками работают молодые люди. Это же адски тяжело!

— Это ваши московские евреи привыкли работать только головой, — вспыхнул Моисей, — у нас в Польше поляки больше сидели по пивным, а работали мы — евреи!

Перевести заключенного в бригаду грузчиков было проще простого, и уже через день Моисей вышел с нами на работу. Я поставил его на погрузку шахтовки, работу нудную, но не слишком тяжелую. Вечером Моисей подошел ко мне.

— Ты что, боишься, что скажут, будто ты покровительствуешь еврею? Зачем ты ставишь меня на шахтовку?

— Но это же самая легкая работа в бригаде!

— А зачем мне нужна твоя легкая работа! На ней зачеты маленькие. Мне нужны зачеты! За двенадцать лагерных лет я побывал на таких работах, которые твоим грузчикам и не снились!

На следующий день мне нужно было заменить одного заболевшего зека, и я решил после некоторых колебаний поставить на его место Моисея. Грузили мостовой брус — огромные шестиметровые брусья с квадратным сечением 200 мм х 200 мм. Напарниками Моисея должны были быть два молодых, высоких и крепких парня. Когда я сказал им, что с ними будет работать Моисей, они явно были

недовольны. Работа требовала большой физической силы, а тридцатитрехлетний Моисей казался им уже стариком и к тому же не производил впечатления человека очень крепкого. Они стояли, переминаясь с ноги на ногу, и явно стеснялись выразить свое неудовольствие.

— У меня другой подмены нет, — сказал я, — работайте с ним, а нужный процент в рабочем описании я все равно выведу.

Началась погрузка. Как всегда, то там, то тут что-то не ладилось. В этот день нам поставили много вагонов — около шестидесяти, поэтому я сумел добраться до вагона, который грузил Моисей, только часа через полтора. Мостовой брус грузится в вагон типа гондолы не так, как обычный пиломатериал. Один человек залезает в вагон, два других забрасывают ему через борт брус за брусом, а он их выравнивает железным крюком. Работа должна идти очень четко, потому что, когда брус перебрасывают через борт, находящийся в вагоне грузчик должен вовремя отскочить в сторону, чтобы под него не попасть. Опытные грузчики принаравливаются к определенному ритму и короткими восклицаниями предупреждают друг друга об опасности.

Когда я подошел к вагону-гондole, мне представилась необычная картина. Спиной ко мне стоял голый до пояса Моисей, и от него шел пар. А надо сказать, что была поздняя осень и уже наступили холода, хотя снег еще не выпал. Густо обросший волосами, он слегка согбенной спиной и длинными руками чем-то напоминал наших симпатичных четырехногих предков, когда, вытянув вперед руки, хватался за свой конец бруса, чтобы вместе с напарником перебросить его в вагон.

— Ну как? — не столько даже словами, сколько выражением лица спросил я, обращаясь к стоящему ко мне лицом грузчику.

— Во! — ответил тот и поднял кверху большой палец.

Вечером в бараке Моисей занял свое обычное место в углу. Все так же горела свеча, все так же голова была повязана полотенцем, предохранявшим от барачного шума, а досуг его скрашивала очередная книга. Видно, неискоренимо жила в нем веками культивировавшаяся «народом книги» любовь к знаниям.

— Ты как Синдбад-мореход, неизменно возвращаешься к своим книгам, — пошутил я.

Моисей улыбнулся. От меня он уже знал эту сказку из «Тысячи и одной ночи».

Шли годы, я освободился и жил дома в Москве. Однажды меня позвали к телефону.

— Какой-то иностранец, плохо говорит по-русски, — сказала соседка.

Это был Моисей. Он позвонил мне, чтобы со мной по-прощаться. Из короткого разговора я понял, что он сумел узнать мой телефон от общего лагерного знакомого. Ехал он из Архангельска, где жил после освобождения. Женился на женщине из Польши и теперь ехал с женой и ребенком на родину.

— Странствия Синдбада-морехода подошли к концу, и он возвращается в свой родной Багдад, только неизвестно, что его там ждет, — невесело сказал он.

ПРОСВЕТИТЕЛЬ

Следуя идеям просветителей XVIII века, теоретики социалистического государства провозгласили, что сознание человека в момент рождения — «чистая дощечка», на которую жизнь наносит свои письмена. Надо только умело взяться за воспитание человека, и он станет хорошим членом проектируемого будущего общества. Если же человек из-за пробелов в воспитательной работе или из-за чуждых влияний не получился таким, каким был задуман, то следует лишь заняться его перевоспитанием и, стерев с дощечки ложные и вредные письмена, заменить их другими, нужными и полезными. Для такого перевоспитания была призвана служить густо разбросанная по всей территории страны разветвленная система исправительно-трудовых лагерей. Сталин дополнил это учение идеей о непрерывно обостряющейся классовой борьбе и о врагах народа, которых следует любыми средствами постоянно искоренять. На пересечении этих двух взаимно исключающих теорий лежала практика — деятельность карательных органов. С одной стороны, загнав врагов на немислимые сроки в лагеря, их изничтожали голодом, холодом и непосильным трудом, а с другой, следуя догме о решающей роли перевоспитания, стремились начертать на дощечках их сознания новые письмена.

Для перевоспитания заключенных ГУЛАГ имел соответствующее ведомство — «Культурно-воспитательную часть»

(КВЧ),— призванное «спасти души» обитателей Архипелага и подтолкнуть их на путь исправления.

На каждом ОЛПе было свое отделение КВЧ. Его возглавлял офицер МВД, а при нем обычно состоял помощник — заключенный, реально осуществлявший всю воспитательную работу. В функцию такого зека-наставника входили организация вечеров самодеятельности и кинопросмотров, получение газет, прием жалоб и выдача для их написания бумаги и, наконец, душеспасительные беседы с заключенными. В специальной кабине, где находилась резиденция КВЧ, иногда можно было прочитать более или менее свежую газету, если только кто-либо из зека ранее не стащил ее на курово.

Должность начальника КВЧ — одну из самых непрестижных в лагере — на нашем ОЛПе занимал лейтенант лет сорока. Это был горький пьяница, который никогда не просыхал. В зоне он появлялся крайне редко, никогда ни с кем не разговаривал, и никому не было известно, в чем заключалась его деятельность. В помощники ему был назначен некий П., бывший политработник войск МВД, сидевший за гомосексуализм: он совратил в части какого-то молодого солдата. Ему-то и поручили заботу о нашем перевоспитании. Это был толстенький человек невысокого роста, с рябым от некогда перенесенной оспы лицом. Довольно быстро он отыскал в зоне партнера — зека, работавшего на заводе экономистом, который принимал его в конторе лесозавода в свободные от работы дни. Лагерники со смехом отмечали каждое их свидание, а начальство смотрело на шалости своего агента и нашего просветителя сквозь пальцы, тем более что его друг в прошлом также исполнял какие-то функции в органах.

Поскольку лагерь был составной частью государственной системы, всякая проводившаяся на воле кампания здесь дублировалась, для чего пускался в ход несложный пропагандистский механизм. Не миновала нас и подписка на заем. Власть не гнушалась брать в долг, разумеется, строго «на добровольных началах» у осужденных на десятилетия зека их скудных заработков. И вот однажды П. получил задание провести подписку на нашем лесопильном заводе. После одиннадцати часов нелегкой физической работы, для многих на морозе, нашу бригаду загнали в курилку лесосоеха, где, кое-как рассевшись, мы должны были выслушать его сооб-

щение.

Основной контингент заключенных цеха состоял из уголовников и бытовиков со сравнительно небольшими сроками, до десяти лет, и политиков, осужденных на большие сроки, до двадцати пяти лет. Усталые и голодные, все угрюмо слушали речь пропагандиста.

Вынув из кармана какую-то грязную, замусоленную книжонку типа «Блокнота агитатора», П. нудно бубнил, что страна находится в окружении врагов, которые спят и видят, как бы нарушить мирный ход нашей счастливой жизни. Дабы избежать вторжения злобных и коварных агрессоров, Советский Союз должен крепить свою оборону, для чего и проводится подписка на заем, в которой мы все как один должны принять участие.

Разумеется, никто эту болтовню всерьез не принимал, но мысль, что мы должны из нашего грошового заработка (я получал в месяц около двадцати рублей старыми деньгами) отдавать ежемесячно какую-то сумму, дошла до каждого. После доклада последовали вопросы. Начало им положили уголовники, которые подписываться на заем не собирались и рассматривали все происходящее как повод для зубоскальства. Первым вылез разбитной паренек Сашка: он, будучи одним из «друзей народа», не очень боялся распускать язык.

— А что, наш усатый их усачу в Германии скоро, наконец, задаст жару? — ухмыляясь, спросил он.

Пропустив мимо ушей не вполне уважительный эпитет в адрес Иосифа Виссарионовича, П. разъяснил, что немецкие реваншисты во главе с Аденауэром только и думают о том, как бы вновь напасть на нашу родину.

Тут, неожиданно восторженно, в разговор вступил плохо понимавший русскую речь крестьянин из глухой литовской деревни.

— А что, скоро уж война будет? — с надеждой в голосе спросил он.

П. с улыбкой превосходства вновь стал объяснять политически незрелому несмышленишу, что наша страна под руководством Вождя упорно борется за мир, но наши враги не дремлют и готовятся к войне.

— Слушай, П., — невинным голосом спросил один блатнячок, — ты кем в армии был?

П. не без гордости разъяснил, что служил политруком стройбата, закладывавшего шахты на большой глубине. При этом он, конечно, умолчал, что шахты строили не его солдаты, а те, кого они стерегли.

— Ямы рыли, дырки в земле делали, чтобы американцев на той стороне за ноги хватать,— резюмировал его рассказ, ухмыляясь, паренек, своеобразно представлявший себе внешнеполитические задачи славных органов.

— А правда, что в Америке есть дома в сто этажей? — на первый взгляд без всякой связи с темой доклада спросил другой разбитной урка.

П. нехотя ответил, что действительно такие дома в Америке есть.

— Ну, я за трофеями выше двадцатого этажа не полезу! — радостно, под всеобщий гогот изрек остряк, в сотый раз повторяя избитую, ходившую среди уголовников поговорку.

— Слушай, П.,— снова вступил в разговор Сашка,— правда, что Сталин еврей?

Такого несправедливого выпада в адрес великого вождя П., разумеется, не мог оставить без ответа и с жаром стал доказывать, что Сталин — натуральный грузин.

— Ну, а сам ты, случаем, не еврей?

П. отверг и это обвинение и прочел короткую лекцию об интернационализме и братстве советских народов.

Все замолчали. Наконец П. решил прервать затянувшуюся паузу.

— Ну, так как же, будем подписываться? — неуверенно спросил он.

— Не буду я подписываться, сам подписывайся! — пробурчал тихо, опасаясь последствий своей смелости, один двадцатипятилетник.

— Если ты подпишешься на заем, то этим докажешь, что стал на путь исправления,— назидательно заметил П.

— Это тебе надо стать на путь исправления, чтобы на чужие задницы не заглядывался,— буркнул работяга.

Раздался сдержанный смешок. П. сделал вид, будто не слышал реплики.

Агитация за подписку на заем явно не имела успеха, и разговор все время уходил в сторону. Тогда П. решил поднажать на присутствующих и без лишнего слов спросил, кто хочет подписаться добровольно. Все молчали, никто такого

желания не выражал. Оставалось крайнее средство, и П. взглядом попросил помощи у бригадира. Во главе бригады лесоцеха стоял некий Митя, в прошлом военнотрудовой, получивший десятку за какие-то махинации по линии интендантства. Он вел себя в лагере законопослушно и держал тесную связь с кумом. Ему явно не хотелось вмешиваться в это дело, но деваться было некуда — он полностью отвечал за бригаду. Митя вынул полный список своих подопечных, и началось индивидуальное выкручивание рук.

Первым в списке значился все тот же Сашка.

— Да, да, подпишусь,— радостно по-блатному зашепелявил он,— у меня с кирюхи по воле Мишеньки-косого остался должок в двадцать рублей. Он, сука, не отдал. Я могу и адресок его кинуть, пусть с него стребуют на самолет с моим именем. Мне ничего не жалко. А наличных у меня нет — все вчера в домино проиграл.

П., уже теряя терпение, вновь разъяснил, что подписка может быть оформлена только на деньги, заработанные в лагере честным трудом.

Следующим шел двадцатипятилетний, крестьянин из Эстонии, плохо понимавший русский язык. Он никак не мог взять в толк, чего от него хотят. А когда кто-то из соплеменников разъяснил ему, он замотал головой: нет, нет, ни на какой заем он не подпишется!

— У-у, куркуль,— заорали, юродствуя, урки,— небось тебе, падло, каждую неделю из деревни ящики с салом шлют, а ты, фашист, не хочешь помочь нашей обедневшей родине социализм строить!

Третьим в списке оказался учитель из-под Харькова, осужденный за антисоветскую агитацию на десять лет. Это был смелый и физически сильный человек, уже прошедший многие лагеря. Он держался независимо, начальства не боялся, хотя на рожон и не лез. Его не раз надзиратели предупреждали, что он пожизненный зека.

«Ты будешь пахать в лагере до конца Советской власти»,— сказал ему как-то надзиратель, с которым он вступил в спор.

«Ну, значит, теперь осталось не долго!» — ответил учитель.

На вопрос П., будет ли он подписываться на заем, учитель только рассмеялся.

— Вот ты и есть настоящий классовый враг,— не выдержав елеинного тона воспитателя, закричал П.— Тебе родина дала все, ты получил образование. А теперь вместо того, чтобы помогать воспитывать молодежь и служить народу, пособничаешь нашим врагам. Сразу видно, что ты — из чуждого класса.

— У нас в стране есть только три класса,— отвечал непокорный,— те, кто сидел, те, кто сидит, и те, кто будет сидеть. Других классов нет.

Дело с подпиской на заем не клеилось, и пора было принимать меры. Бригадир нашел привычный выход из положения и заявил, что бригада единодушно приняла решение подписаться на месячный заработок. А если кто из присутствующих не согласен — пусть заявит. Такого спишут в лесоповальную бригаду, и он будет ходить за восемь километров пилить лес, пока не станет доходягой. «Нам такие работы, которые идут против мнения всего коллектива, не нужны», — заявил он. Все замолчали. Против поднял голос только бывший учитель, но на него бригадир просто не обратил внимания.

О полном успехе своей воспитательной работы в бригаде лесоцеха инструктор КВЧ доложил по начальству в очередной реляции. По этому поводу он в разговоре с одним сокамерником выразился так:

— Они там наверху любят, чтобы все было в порядке, шито-крыто. Им нужен стопроцентный охват зека подпиской — извольте! В этом деле я поднаторел, опыт есть. Их понять тоже можно, ведь и у них есть начальство — все под Богом ходим!

ВСТРЕЧА

Старые лагерники заметно выделяются на фоне новобранцев. Распознать тянувших свои сроки еще с довоенных времен и переживших голод военных и послевоенных лет политиков не составляет труда. Беззубые от цинги и пеллагры, с обострившимися от многолетнего недоедания чертами лица, они заметно отличаются от тех, кто попал в послевоенные наборы. Длительное пребывание в лагере накладывает отпечаток и на психологию и нравственность зека. Под влиянием уголовного окружения с его цинизмом, жестокими законами и несложной звериной философией

«умри ты сегодня, а я умру завтра» некоторые лишённые надежной нравственной опоры старые политики часто теряли человеческий облик и становились озлобленными, мелочными, эгоистичными, нередко из их среды вербовались стукачи. «Старые лагерники — народ отпетый, продадут и предадут ни за понюшку табака, — поучал меня еще в Лефортовской тюрьме зека-повторник, — праведники среди них — птицы редкие, лагерь не делает человека лучше, наоборот, развивает эгоизм и цинизм».

Подобное мнение представляется мне не вполне справедливым. Влияние лагерной жизни на человека не столь однозначно. По моим наблюдениям, она его не портит и не улучшает, но беспощадно выявляет заложенные в нем еще на воле задатки. Экстремальные ситуации обнажают его сущность, измеряют его масштаб.

Судьба столкнула меня в лагере с одним из старых каторжан набора тридцатых годов — Владимиром Александровичем Ворониным¹. Мы случайно разговорились, и я со своим неизбывным интересом к свежим людям сразу же прилип к новому знакомому. Он был расконвоированным и работал на какой-то финансово-экономической должности в управлении Каргопольлага, то есть, по лагерным понятиям, был придурком самого высокого ранга. Подневольная жизнь, конечно, в какой-то степени сделала свое дело, но вместе с тем Воронин, человек лет шестидесяти, в отличие от многих других пожилых обитателей лагеря со стажем был еще сравнительно крепким, сохранил и некоторое чувство собственного достоинства и хорошее чувство юмора. Он охотно помогал сокамерникам. Так, по моей просьбе, используя знакомства с вольняшками, он устроил одного моего соученика по институту на придурочную должность нормировщика на подсобном предприятии, где тот смог проконтиться почти до самого освобождения.

По комсомольской привычке 20-х годов он сразу перешел со мной на «ты», хотя я, годившийся ему в сыновья, не позволял себе к нему обращаться столь фамильярно.

Воронин поведал мне, что еще гимназистом в начале революции вступил в партию, потом был парторгом одного из самых больших ленинградских заводов, позднее стал сек-

¹ Фамилия изменена

ретарем одного из ленинградских райкомов, где вел жестокую борьбу с «зиновьевским охвостом», а закончил свою партийную карьеру в должности секретаря обкома партии в Архангельске, куда был направлен «для выкорчевывания остатков троцкистско-бухаринской оппозиции».

— Для меня поговорить с рабочими на заводе по-настоящему, по-партийному, часа два-три без всякой бумажки никакого труда не составляло, — с гордостью говорил он. — В Ленинграде в 1928 году у меня было даже специальное задание от секретаря обкома — собирать распространяемую троцкистами литературу и уничтожать ее. Ни в какой оппозиции я никогда не состоял, хотя меня и посадили по самой страшной по тем временам статье — КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность), по ней могли и вышку дать.

После тяжелого следствия Воронина отправили с восьмилетним сроком в лагерь, а когда в 1946 году этот срок подходил к концу, его этапировали в местное управление МГБ и без всякого суда, решением Особого совещания добавили еще восемь лет. К моменту нашего знакомства он уже провел в лагерях около четырнадцати лет, ни на какое освобождение в будущем не надеялся и считал себя зека до конца жизни.

— Владимир Александрович, — наивно спросил я его как-то, — а зачем же вас-то посадили? Ведь вы и революцию делали, и в партийную элиту входили, и служили существующему режиму не за страх, а за совесть. Какой в этом смысл?

— Смена опоры, — спокойно и просто ответил Воронин. — Сталину нужно было убрать всех нас и повсюду насадить преданных ему людей. Это закон революционного процесса. Ведь сказано: «Революцию задумывают мечтатели, осуществляют герои, а плодами ее пользуются подлецы». Наша революция не составляет исключения.

— Но вы ведь, наверно, считаете революцию делом нравственным и справедливым? — несколько обескураженный столь прямым ответом старого партийного функционера, спросил я.

— Моральные категории к политике, а тем более к революции не приложимы, — ответил Воронин. — Русская революция, как и английская и французская, была логическим продолжением всего хода отечественной истории. Всякая

революция в конечном итоге поедает своих сынов. Ты Франса «Боги жаждут» читал? Революция — стихия, а я — песчинка в общем потоке.

— Ну, хорошо,— продолжал я свои вопросы простака.— Вы — партийный функционер, и Сталин бросил вас за решетку, потому что, как вы говорите, менял опору. Но зачем он сажает рядовых граждан всех возрастов и профессий? Мы-то вроде на власть в государстве не претендуем?

— А ты, когда ходил в институт, изучал диамат и истмат? — улыбнулся Воронин.— Вам ведь говорили, что государство — это сложная машина с колесиками, винтиками и разными там шестеренками. Вот тебя в эти шестерни и втянуло. Сидишь по статье пятьдесят восемь. Что-то не то сказал? Больше не болтай!

Логика Воронина не показалась мне особенно убедительной, но я промолчал.

От Воронина я много узнал о жизни лагерников в конце тридцатых годов: о массовых расстрелах и пеших этапах, во время которых конвоиры пользовались каждым удобным случаем, чтобы пристрелить всякого, кто хоть на полметра выходил из колонны или за зону условного оцепления. Это был своеобразный спорт или выгодный промысел, потому что за каждого убитого конвоиры получали вознаграждение как за предотвращение побега.

— В случае опасности мы все сбивались в плотную кучу,— рассказывал Воронин,— чтобы не дать конвою повод пустить в ход оружие.

— Хорош ли такой порядок в стране «победившего социализма»? — дразнил я Воронина.

В ответ он лишь загадочно улыбался, как человек, допущенный к высшим, простым смертным недоступным государственным тайнам.

Однажды я застал Воронина за чтением газеты с очередным выступлением Сталина по случаю каких-то торжеств. «Настоящий партийный документ! — сказал с уважением Воронин, аккуратно складывая газету.— Надо будет еще раз прочесть повнимательнее». Сказано это было, по всей видимости, совершенно искренне.

Как-то вечером к нам в зону пригнали этап из Ленинграда. Среди разного рода блатного и воровского люда заметно выделялся человек лет пятидесяти, выше среднего роста, с лицом по-барски гладким и даже не по-тюремному

раскормленным. Мы разговорились. Я не ошибся, он оказался из политиков. Это был некий Ш., осужденный по статье пятьдесят восемь, пункт десять-одиннадцать (анти-советская агитация с сообщниками) Особым совещанием.

Ш. всю жизнь занимался партийной работой, перед арестом был секретарем одного из ленинградских райкомов партии и проходил по нашумевшему делу Попкова — Кузнецова и других высших ленинградских партийных и государственных чиновников. В лагере Ш. был сразу устроен на какую-то должность в лагерном управлении и вопреки правилам вскоре был расконвоирован. Он много рассказывал о своем следствии, последними словами ругал инициатора ленинградского дела Маленкова, которого почему-то именовал «татарином», и превозносил до небес Жданова. Ш. не всегда был в состоянии скрыть свою неприязнь к обиравшей его власти, а однажды, когда колонну гнали в зону мимо поселкового продовольственного магазина, вокруг которого змеилась длинная очередь местных жителей, он устроил целый митинг.

— Вот они, наши мужички, — кричал он, — хлебушек сеют, а досыта его не едят! Я сам из крестьян, горькую крестьянскую долю знаю!

Узнав, что Ш. из Ленинграда, я сказал ему, что в лагере сидит еще один бывший ленинградский партработник. Ш. заинтересовался, и я назвал ему Воронина.

— Владимир Александрович? — быстро переспросил Ш.

— Да, а вы с ним знакомы? — ответил я вопросом на вопрос.

— Встречались, — как-то неопределенно сказал Ш. — Он из бывших троцкистов.

— Хотите, познакомлю?

— Да-а-а, конечно, — весьма сдержанно реагировал Ш. По всему было видно, что особого желания встречаться с Ворониным он не испытывал.

На небольшом пятачке зоны не встретиться было невозможно, и несколькими днями спустя Воронин заметил Ш.

— Ты не знаешь, кто этот человек? — спросил он меня. Я объяснил.

— Ну, конечно, я его знаю. Незадолго до ареста в 1938 году против меня возбудили партийное дело. Обвиняли в связях с троцкистами. Припомнили, что я был знаком или работал с кем-то, кого позднее разоблачили как троцкиста.

Ш. был главным моим обвинителем. Он в то время был восходящей звездой на партийном Олимпе, фабриковал персональные дела пачками.

Мною, как всегда, овладело любопытство, и, когда однажды во время моей беседы с Ворониным мимо проходил Ш., я его окликнул.

— Вот, познакомьтесь, Ваш земляк, тоже ленинградец, я вам о нем уже говорил.

— Да, мы знакомы,— как-то криво заулыбался Ш.— вместе работали в райкоме, да и в ленинградском горкоме частенько встречались. Как говорят: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком...»

— Как же, как же, помню, встречались на партийной комиссии, когда меня исключали из партии,— сказал Воронин.

Я ожидал, что между бывшими недругами начнется выяснение отношений, но этого не произошло. Старые знакомые, они, как близкие друзья и сотоварищи по политическим играм, стали дружно обсуждать судьбы сослуживцев из ленинградской партийной верхушки, вспоминать, кто в какой системе работал. Выяснилось, что одни общие знакомые были арестованы и исчезли, а другие сделали головокружительную карьеру. Среди последних были и Жданов, и Косыгин, и Маленков. Создавалось ощущение, что существовала огромная пирамида из партийных чиновников, причем каждый по мере сил карабкался вверх, и одни там удерживались, а другие соскальзывали вниз и вовсе исчезали из жизни. Дружелюбный тон их беседы меня поразил. Однажды я спросил у Воронина:

— Как вы можете так спокойно и даже миролюбиво разговаривать с этим человеком, словно он ничего дурного вам не сделал?

Воронин махнул рукой.

— Не он, так другой. Мы так понимали тогда свой партийный долг. И он его выполнял. Будь я на его месте, а он — на моем, я действовал бы точно так же.

— Простите, Владимир Александрович,— почти завопил я,— но ведь он действовал не бескорыстно! На ваших костях карьеру делал!

— Так мы все тогда понимали свое служение партии,— угрюмо повторил Воронин.

Бывшие секретари постепенно сблизились, и Ш. даже перебрался на соседние нары, чтобы быть поближе к своему собеседнику. Теперь его отделял от Воронина лишь узкий проход. Я редко принимал участие в их разговорах, но когда оказывался поблизости, до меня доносилось: «он был хороший коммунист», «демагог и болтун», «не всегда был принципиален», «оказался врагом народа». Постоянно повторялись формулы вроде: «на пленуме горкома партии», «в закрытом письме ЦК» и тому подобные. Меня поражало, что даже в своих беседах здесь, в лагере, они не могли отказаться от лексики и фразеологии, позаимствованных из партийно-бюрократического реквизита и отличных от бытовой речи нормальных людей.

— Вот вы, Владимир Александрович, говорите про кого-то, что он оказался врагом народа,— спросил я однажды Воронина.— Вы что, после всего вашего тюремного и лагерного опыта все еще верите в существование каких-то мифических шпионов, вредителей, диверсантов и тому подобных страшных преступников, коих сотни тысяч, если не миллионы?

Воронин как-то странно на меня посмотрел и промолчал. Казалось, он был раз и навсегда запрограммирован стереотипными партийными понятиями, отказаться от которых не мог. Я поражался этой, с позволения сказать, принципиальности. Когда мой естественный интерес к этой паре был исчерпан и пиквикская любознательность удовлетворена, я перестал с ними общаться.

К числу наиболее тяжелых испытаний лагерной жизни несомненно следует отнести полное и постоянное отсутствие «прайвеси» — возможности хоть на короткий срок уединиться и побыть с самим собой. Самые разные люди обитают вместе в тесном бараке, зажатые на нескольких метрах жилплощади. Отсюда множество бытовых неудобств и постоянных конфликтов. Малейший повод может привести к столкновению озлобленных и усталых людей, а иногда и к драке. Воронин и Ш. также нередко ссорились, что вызывало со стороны окружающих смех и ядовитые подначки. За долгие годы лагерной жизни у Воронина сложились определенные бытовые привычки, которые помогли ему выстоять в борьбе за существование. Он не имел родных на воле: жена была арестована вместе с ним и сгинула где-то в лагерях, а сын от него отказался. Никаких посылок он не

получал и жил на то, что ему давал не слишком щедрый начальник. Ни на чью помощь извне он рассчитывать не мог и привык вести свое несложное хозяйство аккуратно и педантично.

В отличие от Воронина Ш. был человек избалованный и достаточно бесцеремонный. Он регулярно получал от жены из Ленинграда обильные посылки и не был склонен делиться со своим лагерным другом. Это был государственный придурок новой формации, чуждый и даже враждебный былым революционным идеям всеобщего эгалитаризма. Когда ему было нужно, он мог, не спросив разрешения, взять у соседа по нарам любой предмет и даже извлечь у того из «занапки» что-либо из съестного. Это приводило к постоянным ссорам. Но однажды столкновение между друзьями было вызвано жестокой шуткой окружающих, неприязненно относившихся к Ш. А произошло это так.

Воронин принес в барак купленные за зоной брюки вольного образца и, положив их на нары, отправился в столовую. Минуты через две в бараке появился Ш. с большим мешком в руках — посылкой, которую он только что получил из дома. Бросив мешок на нары, он тоже куда-то вышел. Соседи по бараку решили разыграть друзей. Один из зека вскрыл посылку Ш., сунул в нее брюки Воронина и вновь аккуратно увязал мешок. Ш., возвратившись, стал перебирать присланные пожитки и, обнаружив брюки, очень обрадовался.

— Вот хорошо, догадалась жена прислать брюки,— с торжеством объявил он,— а я, когда получал посылку, их и не заметил!

Ш. примерил брюки, которые оказались ему впору, завернул их обратно в посылку и отправился в столовую. Тут возвратился Воронин и стал искать свою покупку.

— А ты посмотри у Ш. в мешке,— невинным голосом, как бы между прочим посоветовал ему один из зека.— Он там чего-то копошился!

Воронин полез в мешок Ш., наткнулся на брюки и пришел в ярость.

— Этого еще не хватало, у старого лагерника и товарища воровать,— кричал он,— такого со мной не было уже много лет!

Тут в барак возвратился Ш., и между друзьями началась грубая перебранка. Сразу же образовались партии. Одни с пеной у рта доказывали, что видели, как Воронин принес

купленные брюки, другие с неменьшим пылом свидетельствовали, что Ш. извлек предмет спора из посылки. Ощущая за спиной могучую поддержку сторонников, несчастные жертвы розыгрыша чуть не плакали, доказывая свою правоту, обвиняя и оскорбляя друг друга, а окружавшие их зека подначивали их и наслаждались потехой. Лагерники ценят всякую возможность посмеяться и особенно охочи до подобного рода жестокого цирка, когда поводом для смеха становится человеческое унижение. Когда, вдоволь натешившись и объяснив ссорящимся, что с ними сыграли злую шутку, обитатели барака разошлись, кто куда, мы остались в бараке втроем, и тут Воронин и Ш. вдруг перешли к яростной политической перепалке. Унижение воскресило старые обиды, и все, что годами таилось под спудом, мучило их и волновало, всплыло на поверхность. Сказалась старая привычка придавать всякой личной вражде политическую мотивацию.

— Вы породили целое поколение стяжателей и воров, отступили от наших партийных идеалов,— кричал обычно сдержанный, когда речь шла о политических вопросах, Воронин,— помогли Сталину разгромить старую партийную гвардию, а сами стали обмещанившимися чиновниками. Вами движут только корыстные интересы, ради них вы готовы на любую подлость, уничтожали сотни тысяч преданных делу Ленина людей, обвиняли кого попало в троцкизме.

— А вы что, были святыми, щадили своих противников? — кричал в ответ Ш.— Не громили тех же троцкистов и прочих уклонистов? Кто уничтожил еще в начале тридцатых годов всю ленинградскую партийную организацию — не вы ли? Мы, по-вашему, поколение партийных чиновников и циников. А кто воспитал в партии нетерпимость, подымал крик и требовал расправы над теми, кто вам перечил? Вы превратили партию и народ в послушное стадо, а теперь кричите о нашем цинизме. Мы ваши примерные ученики и ваши жертвы. Вы обвиняете нас в уничтожении старой партийной гвардии. А не вы ли, эта самая партийная гвардия, ради мнимого осуществления своих утопических идей уничтожили лучшую часть народа — крестьянство и интеллигенцию,— вырастив покорных холуев и пьяниц? Вы утверждаете, что действовали бескорыстно. А разве вы не жили боярами с вашими привилегированными магазинами, когда

страна голодала из-за ваших экспериментов? А мы последовали вашему примеру и старались жить послаще. За что боролись!..

Взаимные обвинения так и сыпались с обеих сторон, и каждое высказывание вполне тянуло на пятьдесят восьмую статью. Мое присутствие их не смущало. Но любопытно, что в своих страшных разоблачениях ни тот, ни другой не затрагивали самую основополагающую доктрину, не высказывали сомнения в том, что они именовали генеральной линией. И стоило мне заикнуться о некоторой безнравственности их позиции, как эти два представителя разных поколений партийной элиты объединились против меня, и Воронин, указуя в меня перстом, заявил: «Вот какое беспринципное поколение вы воспитали!»

На следующий день после яростного спора они снова мирно беседовали, и до меня опять доносилось: «на последнем пленуме», «бухаринцы», «принципиальный коммунист» и т.п. Исповедуемое этими людьми учение со всей его фразеологией стало их второй натурой, и на другом языке они уже говорить не умели. Трудно решить, чего в их взглядах и речах было больше: привычки, фанатизма, лицемерия или элементарной дурости. «Гвозди бы делать из этих людей», — сказал как-то один из зека, вспомнив известную строчку из поэмы Тихонова. «Именно! Но только гвозди!» — подумал я.

СВОБОДА ВОЛИ

На соседних нарах барачной вагонки обитают два друга — один из них, Лазарев, молодой человек лет, 28 — 30, высокий, широкоплечий, темноглазый брюнет, с сильно развитой мускулатурой, выступающей даже из-под майки с рукавами, другой, со странной фамилией Коев, — его полная противоположность, человек лет под пятьдесят, невысокий, хилый и лысоватый блондин с серо-голубыми, тусклыми глазами. Лазарев родом из Карелии, из семьи сельского учителя. Коев — простой мужик из южноуральской деревни, из семьи раскольников. Друзья работают на пару в лесоповальной бригаде, при этом большую часть физической нагрузки при валке и распиловке леса берет на себя сильный Лазарев.

Лазарев — двадцатипятилетний, осужден по статье пятьдесят восемь, пункт один Б за измену родине, иными словами, за пребывание в плену и службу во власовской армии. Коев, как здесь обычно о таких, как он, говорят, баптист и отбывает уже не первый срок. В 18 лет он был арестован за отказ служить в армии, на его языке «принять оружие», после освобождения перед войной сел вторично, на этот раз по банальной статье пятьдесят восемь, пункт десять за антисоветскую агитацию и проповедь пацифизма, получил традиционную десятку, а уже в лагере после войны получил по той же статье довесок в виде новой десятки. Лежа вечерами на нарах, друзья ведут бесконечные дискуссии на разные темы, начиная с того, как лучше направить лучковую пилу, и кончая самыми «последними вопросами» — о мироздании и божественной истине.

Коев — своего рода религиозный мыслитель и моралист. Самостоятельно, без какого-либо существенного влияния извне он выработал для себя сложную, хотя и несколько путаную философию, в которой старообрядческие и мистические идеи сочетаются с элементами толстовского учения. Один из главных его принципов жизни, которому он свято следует, — непротивление злу насилеием.

Обычно я не обращаю внимания на бесконечные споры соседей и, приходя в барак после одиннадцатичасовой работы на морозе, заваливаюсь на нары и сразу же засыпаю. Однако в тот день я отогрелся и отдохнул, спать не хотел и невольно прислушивался к беседе друзей.

Спорят они на этот раз о свободе воли — проблеме, волновавшей человечество на протяжении всей его истории. В устах моих сокамерников она получает совершенно особое толкование. Лазарев твердо стоит на том, что за всю свою жизнь он не совершил ни одного более или менее важного поступка по собственной воле, но всегда подчинялся воле других людей или действовал в силу обстоятельств. Коев же доказывает, что человек сам волен творить свою судьбу и несет перед Всевышним ответственность за свои поступки. Заметив, что я не сплю, Лазарев решает привлечь меня в качестве арбитра и сообщает мне свои аргументы.

— Ты человек грамотный, поймешь, — говорит он, обращаясь ко мне. — Вот, Серка (Коева звали Серафим) все толкует: свобода воли, свобода воли! А где она, моя свобода? Веришь или нет, я не помню такого дня за всю жизнь,

чтобы я в серьезном деле действовал по своей воле. Родители мои учительствовали в селе и хотели, чтобы я получил образование. Ну ладно, кончил я в Петрозаводске в 1939 году школу-десятилетку и поступил в пединститут. А тут, трах, вышел приказ всех студентов призывного возраста забрить в армию. Призвали и меня с первого курса. Так я и остался недоучкой на всю жизнь. Сунули меня в пехотное училище, поучился я с годик, а тут, хоп, война. Навесили на меня два кубика и на фронт. Два года я честно провоевал, дослужился до капитана, схватил два ордена. А тут вся наша армия попала в окружение, и я оказался в плену. Что я мог сделать? Да ровно ничего! Отправили нас в лагерь военнопленных. Судьба наша известна. Сталин сказал, что нет у нас военнопленных, есть лишь изменники родины, и отказался нам помогать через Красный Крест. Пухли от голода. Настроился я с друзьями бежать, да один подонок продал нас, выслужиться захотел. Доказать он ничего не сумел, но взяли нас под особое наблюдение. А тут стали агитаторы вербовать русских военнопленных в немецкие вспомогательные части. Я прикинулся карело-финном, язык-то я их знал, и мы с двумя корешами, тоже в прошлом офицерами, договорились завербоваться, чтобы потом при случае перебежать к своим. Первоначально немцы, хоть и нарядили нас в свою форму, нам не доверяли и следили за нами вплотную, так что бежать было нельзя, а потом мы и не захотели, как узнали, что нашего брата Советы не жалуют, кто линию фронта переходит, особо не разбираясь, ставят к стенке.

Стали нас немцы бросать на карательные операции. Может, слышал, была такая бригада Каминского. Ну вот, мы в ней служили. Когда союзники высадились в Италии, мы там, помню, дрались с поляками. А ближе к концу войны нас перебросили на север Франции. Тут союзники высадились в Нормандии. Ясное дело, умирать за Великую Германию никто из нас не хотел, и как только представилась возможность, мы и подались к американцам. Перевезли нас в лагерь для военнопленных в Штаты, куда-то под Нью-Йорк. Там мы впервые за всю войну отдохнули, вроде бы на курорте оказались. Кормили нас хорошо. Вокруг лагеря был такой невысокий заборчик, вечерами мы через него перелезали и бегали на танцульки. Там такая площадка была, дансинг-холл называлась. Завелась у меня подруж-

ка-американочка, продавщицей в большом магазине работала. Как раз кончилась война, и я подумывал о том, чтобы у нее в Штатах остаться. Да разве я свою судьбу решал? Собрали нас, голубчиков, и перевезли в Ломбардию, в Северную Италию, а там, по договору со Сталиным, погрузили на судно и прямым путем в одесский порт. Остальное известно. И чего я только не повидал за войну — и как уничтожали еврейское гетто в Варшаве, и как подавляли варшавское восстание, когда советские стояли на другом берегу Вислы. И партизан ловил в Белоруссии, и с карателями в Югославии и Италии побывал — все было. Ты мне только скажи, что за всю войну я делал по собственной воле? Не вступил бы в немецкую армию — сдох бы от голода, попытался бы удрать к своим — попал бы под расстрел. А он толкует — свобода воли.

— Врешь ты все, Андреич,— спокойно возражал Лазареву его старший друг.— И оружия не должен был бы брать у немцев, и в карателях не надо было служить. На все была твоя воля. Человек волен жить по совести.

— Вот ты и сидишь третий раз, и все по совести,— сбился на крик Лазарев. Видно, доводы друга давно его волновали, а в своих он не был так уж уверен.

— И четвертый, и пятый раз сяду,— спокойно возражал Коев, поглядывая на друга своими тусклыми серо-голубыми глазами,— дело житейское. Над жизнью моей злодеи властны, а над душой — нет. Душа моя свободна.

Этот спор шел между друзьями изо дня в день, причем Лазарев доказывал свое, крича и волнуясь, в то время как его друг возражал ему тихим голосом, слегка посмеиваясь. При этом лицо его светилось счастьем, и было в нем и чувство превосходства и некоторая доля иронии по отношению к другу-несмышленишу, а вместе с тем было в нем что-то трогательно-детское и немного юродливое.

Периодически лагерное начальство перегоняло заключенных из одного барака в другой. Делалось это для того, чтобы между зека не устанавливались слишком тесные связи, а заодно и для того, чтобы, воспользовавшись общим переселением, насадить повсюду своих тайных осведомителей. Наша бригада кончала работу поздно, и однажды, возвратившись в зону, я застал в бараке полный разгром. Место мое на нарах занял какой-то блатнячок, а мое «имущество» — набитый соломой матрас, алюминиевая кружка

и котелок, и еще кое-какая мелочь — валялось на грязном полу в проходе между нарами, и по ним ходили новые обитатели барака. Разумеется, кое-что из моих лагерных пожитков вовсе исчезло. Спорить по поводу случившегося было бесполезно, и я, собрав уцелевшее, намеревался отправиться на новое местожительство.

Но тут мое внимание привлекли вопли, доносившиеся из того отделения вагонки, где ранее на нарах располагались мои соседи-друзья. Коев качал права. Его негодование было вызвано надругательством, которому подверглась его скромная библиотека, состоявшая из старых журналов, черно-белые картинки в которых он любил раскрашивать цветными карандашами, и тетрадок, в которые он переписывал понравившиеся ему изречения. Все это, растерзанное и грязное, валялось на полу, как и мое имущество, а на месте Коева, на верхних нарах, восседал нагловатого вида молодой парень, которого явно забавляли вопли маленького лысого человека.

— Вали отсюда, батя,— лениво цедил парень сквозь зубы,— вали, пока я добрый, а то ведь, не ровен час, и рассердиться могу.

Однако Коев не отступал и требовал, чтобы парень ему возвратил какие-то книги и бумаги.

— Смешной ты, батя, все просишь и просишь, ну, как тебя не уважить,— беззлобно и даже добродушно сказал парень. Он как-то весь искривился, ухмыльнулся и, не глядя на Коева, ударил его обутой в тяжелый ботинок ногой в лицо. Что-то хрустнуло. Коев упал на спину и на несколько секунд затих.

И тут случилось непредвиденное. Наблюдавший за происходившим Лазарев подскочил к нарам, схватил парня за ноги и, сбросив с верхнего лежака на пол, стал яростно топтать его ногами. На секунду барак затих, а затем целая куча дружков парня набросилась на Лазарева со всех сторон и начала его избивать. Когда через минуты две они отступились, Лазарев остался лежать неподвижно, а по полу барака растекалась небольшая кровавая лужица — видно, кто-то из нападавших ударил его в сутолоке ножом. Лазарева унесли в лагерный госпиталь.

На другой день после работы я отправился навестить Лазарева. Лагерный хирург, заключенный Б., уже сделал ему операцию, по его словам, ножом было задето легкое.

Лазарев лежал на спине, тяжело дышал и еле говорил. Рядом с ним сидел Коев с большой повязкой на лице. Лазарев все время силился что-то сказать, но понять его было нелегко. Я наклонился над ним и еле разобрал его слова, скорее о них догадался.

— Вот тебе и свобода воли, один раз попробовал... — еле слышно пробормотал он. — Так всегда у меня...

Коев, казалось, также не столько услышал, сколько уловил смысл сказанных Лазаревым слов. Лицо его сморщилось, на секунду приняло скорбное выражение, но через миг стало снова радостным и лучезарным.

— Ну и молодец, — тихо сказал он, — доказал, что ты — свободный человек, вступился за правое дело.

— Что мне теперь твое правое дело, на черта мне свобода воли, — опять еле слышно забормотал Лазарев, — я жить хочу!

Через день я снова зашел в госпитальный барак, чтобы справиться о больном. В дверях я столкнулся с госпитальным санитаром, детиной огромного роста из числа бывших бандитов.

— Как там Лазарев? — спросил я.

— Ночью кончился, — сказал санитар, — кровь пошла из горла, а пока ходили будить врача, он и помер. Известное дело — легкое ему проткнули. Как тут жить будешь.

Вечером мы сидели с Коевым до отбоя, пили чай со сладкими сухарями, присланными ему дочерью, вспоминали убитого. Словом, устроили скромные поминки. Коев был, как всегда, тих и приветлив. «Вот ведь поступил же Колька по собственной воле, когда за меня вступился, значит, я прав», — сказал он.

Казалось, для Коева главным было решить некую нравственно-философскую задачу, а судьба человека его интересовала во вторую очередь. Он вроде бы нимало не был огорчен трагической смертью друга, но лишь жалел, что теперь не сможет доказать ему свою правоту. Меня поразило это сочетание интереса к высшему и удивительная черствость к близкому человеку. Как и прежде, улыбаясь, он помянул умершего и заключил свою короткую речь традиционными словами: «Бог дал, Бог и взял!» Все вокруг в бараке равнодушно спали.

ЯН РОКОТОВ

Когда в 1961 году я узнал из газетного фельетона о суде над Яном Рокотовым, выглядевшим под пером журналиста страшным злодеем, и о смертном приговоре, вынесенном ему за валютные спекуляции, я невольно вспомнил хрупкую фигурку в грязной, рваной телогрейке, представшую перед нами однажды в зимнюю пору в лагерном бараке. Разумеется, о прошлой горькой судьбе Рокотова в фельетоне ничего не говорилось.

Это был невысокого роста худенький юноша, казавшийся значительно моложе своих лет. За годы работы на лесоповале в режимной бригаде, где его систематически избивали за невыполнение нормы (которую, к слову сказать, редко кто выполнял), он на время утратил способность сознательно воспринимать действительность. Потеря памяти у Яна была столь велика, что, когда к нему подошел мой сосед по нарам, ленинградский инженер, Василий Степанович Дрокин, совсем незадолго до того находившийся с Яном на одном ОЛПе и работавший с ним в одной бригаде, Ян не мог его вспомнить.

История Яна Рокотова поначалу мало чем отличалась от десятков тысяч подобных. Отец его, Тимофей Рокотов, в прошлом главный редактор журнала «Интернациональная литература», аналога нынешней «Иностранной литературы», еще до войны был арестован и расстрелян. В то время Ян был ребенком, а после войны он, студент юридического факультета, дозрел до того, чтобы на него обратили внимание, и был, в свою очередь, арестован. Во время ареста живой, энергичный и предприимчивый юноша сумел вылезти через маленькое окошко туалета на улицу и бежать. Если только рассказ Яна достоверен, сразу же после побега он явился в дом к следователю Шейнину, жена которого приходилась ему родственницей, и тот, ругая Яна последними словами, снабдил его деньгами и велел больше у него не появляться.

Много месяцев оперативники МГБ старались ликвидировать свой «прокол» и разыскать молодого беглеца, пока не нашли его где-то на юге страны. Ян получил восемь лет по пятьдесят восьмой статье, к которой ему добавили статью «за побег из места заключения», хотя в момент ареста он еще не был осужден и бежал из собственного дома. Вторая

статья существенно ухудшила его положение в лагере. Вместе с бандитами и рецидивистами он был помещен в режимную бригаду, которую гоняли на лесоповал под специальным усиленным конвоем. Бригаду возглавлял некий Кацадзе, ссучившийся уголовник, мучивший и избивавший заключенных при попустительстве и даже сочувствии охраны.

К тому времени, когда Ян появился в нашем бараке, он отсидел уже значительную часть срока, с него были сняты режимные ограничения, и он был переведен в нашу зону. Молодые жизненные силы Яна взяли свое, и через несколько месяцев его психическое состояние полностью восстановилось. Он даже сумел как-то приспособиться к лагерным условиям, устроился работать на подсобную площадку и, когда, уже после смерти Сталина, дело его было пересмотрено, покидал лагерь с большим, набитым имуществом чемоданом, в новеньком, неизвестно где сшитом костюме.

— Освобождаюсь вчистую, с полной реабилитацией! — радостно прокричал он мне, стоя на вахте, уже за пределами зоны, и помахивая реабилитационной справкой.

— Сколько же тебе пришлось зря просидеть? — спросил я.

— Около семи,— голос Яна упал.

Мой вопрос заставил его спуститься с неба на землю и спугнул его эйфорию.

Тюрьма и лагерь действуют на неустойчивые натуры деморализующе, особенно если человек попадает в заключение молодым, с еще не сложившимися убеждениями и этическими нормами. Негативный опыт лагерной жизни среди воров, бандитов, убийц и насильников чаще всего способствует выработке приклатенной психологии и морали. Выйдя на волю, Ян восстановился на втором курсе института, но после лагерного опыта вписаться в рутинную жизнь советского студенчества и учиться, как прежде, уже не смог. Ему захотелось после страшных лагерных лет пожить на всю катушку, а учеба в институте и грошовая стипендия давали слишком мало возможностей и сладкой жизни отнюдь не обеспечивали. Ян бросил институт и занялся подпольным промыслом. В этом ему помогали еще несколько человек из числа бывших заключенных нашего лагеря, которые в свое время также сидели по 58-й статье и были реабилитированы, но в лагере прониклись уголовным взгля-

дом на мир и жизнь.

Я толком не знаю, в чем состоял бизнес Яна, но, по доходившим до меня слухам, суть дела заключалась в том, что Ян сумел войти в контакт с каким-то западногерманским банком. Внося в этот банк марки, приезжавшие в СССР иностранцы получали от Яна советские деньги по выгодному курсу, и напротив, выезжавшие за границу советские люди, выдав Яну советские деньги, получали за границей соответствующую сумму в валюте. Одна моя бывшая сокамерница шепотом рассказывала мне, что обороты Яна достигали многих десятков тысяч рублей. Ходили слухи о его легендарном богатстве, каких-то немыслимых кутежах в московских и ленинградских ресторанах и о любовных связях с красотками полууголовного и артистического миров.

Самое любопытное, что вопреки слухам Ян не производил в это время впечатление преуспевающего дельца. Я трижды случайно встречал его на улице, и он всегда казался мне скромным и небогатым человеком.

Первая моя встреча с Яном произошла сразу же после моего освобождения. Ян тогда восстановился на факультете и жаловался, что не находит общего языка с сокурсниками, потому что старше их почти на десять лет, и что стипендии ему на жизнь не хватает.

Вторая наша встреча состоялась, видимо, в начале предпринимательской деятельности Яна. Он не хвастался особенно своими финансовыми возможностями, но из разговора я понял, что он ни в чем не нуждается.

— Я бросил институт,— сказал он,— поздно мне, старику, сидеть за одной партой с не знающими жизни юнцами. Наш институт ведь особенный, там полно детей разных шишек. На черта мне сдалась эта специальность юриста. Я и так про нашу юриспруденцию все знаю, испытал ее милости на собственной шкуре! Сидеть юрисконсультom в конторе или адвокатствовать! Ну их к бесу!

Третья и самая удивительная встреча произошла у нас в Центральном универмаге. Это было незадолго до ареста Яна, когда я от сокамерников слышал о его баснословном богатстве. Ян держал в руках небольшой сверток.

— Вот купил пару немецкого теплого белья, советую и вам это сделать. Белье хорошее,— сказал он.

Ничто не выдавало в нем подпольного миллионера. Ян был скромен и немного грустен, возможно, предвидел свою

судьбу. Он торопился на концерт, и мы быстро расстались.

Появление в газетах фельетонов о Яне было для меня полной неожиданностью. В них Ян рисовался как некая демоническая личность, крупный валютчик и спекулянт и даже неотразимый Дон Жуан, совратитель многих женщин, вроде Синей бороды. Все это не вязалось с его обликом. Ходили слухи, что он стал жертвой какой-то интриги в борьбе различных отделов специальных служб, работники одного из которых, занимавшиеся расследованием крупных валютных спекуляций, пытались сделать карьеру на этом деле и умышленно раздували его масштабы. Так это или не так, я не знаю, но Ян, несомненно, оказался жертвой чьей-то закулисной игры.

Может быть, при иных условиях недюжинная энергия Яна ушла бы не в «черный бизнес», а в общественно полезную деятельность. Из него вышел бы выдающийся экономист-практик, преуспевающий банкир или менеджер крупного торгового предприятия. Но этого не случилось. Смертный приговор, вынесенный Яну в 1961 году по прямому приказанию Н. С. Хрущева, был вопиющим нарушением законов, человеческих и божеских, равно как и общепринятых норм юридической практики. На первом процессе Ян был осужден на пятнадцать лет заключения. Однако, несмотря на то, что закон не может иметь обратной силы, Хрущев не только распорядился внести соответствующее изменение в уголовный кодекс, установив смертную казнь за валютную контрабанду, но и пересмотреть дело Рокотова, чтобы приговорить его к высшей мере.

Наш общий сокамерник, ныне покойный журналист Э., присутствовал на втором процессе Рокотова. Он мне рассказывал, что Ян, понимавший, что ему не избежать смертного приговора, вел себя мужественно и даже дерзко, вступал в пререкание с судьей и прокурором и отвергал выдвигаемые против него обвинения.

— Они меня все равно расстреляют, они без казней не могут, — сказал он подошедшему во время перерыва к скамье подсудимых журналисту, — но хоть года два я пожил как человек, а не как тварь дрожащая!

Видно, Ян знал классику!

Валютные комбинации Яна были столь умело продуманы и настолько эффективны, что ходили слухи, будто в Западной Германии ему была присуждена премия за лучшую

финансовую сделку последних десятилетий, а один из городов сделал его своим почетным гражданином. Если это даже легенда, то она сама по себе свидетельствует о той дани уважения, которое его финансовые способности вызвали в деловых кругах.

Во время процесса прокурор и судья умолчали о том, что обвиняемый еще в ранней юности был безвинно репрессирован, просидел в тюрьме и в лагере около семи лет, после чего освобожден и реабилитирован в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщил суду сам Рокотов, но ни судья, ни народные заседатели не пожелали обратить на это внимание. Карательные органы легко прощали себе свои преступления, ссылаясь на то, что незаконные аресты производились «во время культа личности», а они к этому вовсе непричастны. Никто не вспомнил о том, что государственная система, лишив его родителей и ни за что ни про что швырнув юношей в уголовный мир, несет изрядную долю ответственности за его судьбу.

И поныне у меня перед глазами Ян, каким я его увидел впервые — маленькая, худенькая фигурка посреди барака, затравленный, растерянно бегающий взгляд исподлобья.

БЕГЛЕЦЫ

Бытует мнение, что бежать из советского лагеря крайне трудно или даже практически невозможно. Тем не менее история лагерей знает немало подобных попыток, иногда успешных, а иногда окончившихся для участников трагически. Существовало правило, согласно которому всех тех, кого оперативникам удавалось изловить, возвращали в тот же самый лагерь, чтобы убедить заключенных в безнадежности такого рода предприятий. Часто тела тех, кто при побеге был убит, привозили к воротам лагеря и на некоторое время оставляли там лежать в назидание другим. Впрочем, неудачи предшественников не останавливали новых смельчаков, и всегда находились предприимчивые или отчаявшиеся зека, готовые пойти на риск в поисках желанной свободы. За время моего пребывания в лагере с 1949 по 1955 год было несколько попыток побега, и некоторые из них увенчались успехом.

Я помню, как лагерь облетела весть о том, что с одного из соседних ОЛПов, где содержались в основном железно-

дорожники — строители ветки и obsлуга действующей ее части, бежал шестидесятилетний инженер, осужденный по 58-й статье. Это был опытный путеец, которого вскоре после прибытия в лагерь расконвоировали и назначили на работу по прокладке новой трассы. Однажды утром он, как всегда, отправился на свой участок и более не возвратился. Позднее в лесу нашли брошенные им геодезические инструменты. Одновременно с ним из Ленинграда исчезла его жена, ранее неоднократно приезжавшая на свидания к мужу. Выяснилось, что в прошлом инженер участвовал в строительстве железной дороги Ленинград — Петрозаводск и хорошо знал пограничный с Финляндией район. Высказывалось предположение, что он ушел в Финляндию. Так или иначе, но, несмотря на все усилия, оперативникам на след его напасть не удалось и к нам в лагерь его не вернули.

Трагически окончилась попытка побега бывшего священника, сына лидера обновленцев-живоцерковников Введенского. В прошлом он служил в церкви на одном из городских кладбищ и, по-видимому, был связан с НКВД. Это засвидетельствовал его сосед по нарам В. А. Савелов, видевший заявление Введенского в прокуратуру. В этом заявлении Введенский писал, что состоял секретным сотрудником и что в свое время по его донесениям были разоблачены и арестованы некоторые лица (шел их перечень). Свою прошлую деятельность он просил учесть при рассмотрении его дела.

В лагере Введенский страшно опустился, связался с разными подонками, ходил грязный, страшно сквернословил и производил впечатление психически больного человека. Видимо, от отчаяния он договорился с двумя уголовниками попытаться бежать из колонны заключенных прямо на марше. Суть такого побега «на рывок» состояла в том, что несколько человек по сигналу одновременно выскакивали из колонны и устремлялись в разные стороны. Расчет строился на том, что растерявшиеся от неожиданности конвоиры не сумеют сразу поразить несколько целей и кто-либо из зека сумеет добраться до леса. В данном случае беглецам не повезло, и их всех настигли пули конвоиров, прежде чем они успели скрыться в лесной чаще.

В одном из побегов активное участие приняла вольная женщина, сообщница заключенного. Смелая операция была заранее продумана и осуществлена во время работы в лесу.

Выводя колонну заключенных на работу, конвоиры делали вокруг отведенного под вырубку места оцепление и заводили в него зека по счету. В конце рабочего дня та же процедура происходила в обратном порядке: создавалось оцепление для марша, заключенных заводили в него по счету, после чего вокруг участка снималось оцепление и колонну вели в зону.

В один из пасмурных зимних дней, при сильном снегопаде, на место лесоповала задолго до того, как были приведены бригады, пробралась женщина, подруга одного из уголовников, и спряталась в глубоком снегу. Конвоиры, как всегда, создали оцепление и запустили бригады на участок. Таким образом, женщина оказалась в оцеплении. Она обменялась со своим другом одеждой, вымазала лицо копотью от горевших повсюду костров и уподобилась работягам-мужчинам. Вечером, когда бригаду уводили с работы, она вышла со всеми, и зека спрятали ее в середине шеренги, а дружок ее тем временем укрылся в снегу. Колонна ушла, оцепление сняли, и уголовник бежал. Во время обыска на вахте в темноте надзиратели не заметили женщину и пропустили ее со всеми зека в жилую зону. Счет повсюду сходился, и конвой был спокоен. Женщина легла на нары и укрылась бушлатом.

Следующий день был объявлен нерабочим, и утром на вахте разыгрался спектакль. К начальнику ОЛПа танцующей походкой подошел молоденький блатнячок и, как всегда, кривляясь, изрек:

— Начальничек, что-то у тебя в зоне непорядок, режимчик не держишь, баб в зону пускаешь!

— Чего ты там болтаешь? — удивился начальник.

— Понимаешь, начальничек, — гнусавил блатнячок, переходя на доверительный тон, — просыпаюсь я сегодня, гляжу, баба рядом лежит. А я уж как не люблю, когда режимчик нарушают. Я ведь иду на исправление, а тут бардачок развели. Ну, думаю, надо начальничку сказать, чтобы мусоров приструнил. Заелись, падлы, мышей не ловят, работать не хотят!

Начальник огляделся вокруг и заметил группу блатных постарше, стоявших поодаль и с интересом наблюдавших за происходящим. Заподозрив неладное, он заорал:

— Чего кривляешься, где, какая тебе баба?

— Чего ругаешься, начальникек,— в восторге от своей роли в спектакле, соловьем заливался паренек,— я же на исправление иду, стучать начал. Меня ценить надо! Твои-то козлы работают плохо. Я же хочу, чтобы порядочек в зоне был. Тебе не угодись!

Когда надзиратель прибежал в барак, он увидел, что на нарах действительно сидела бабенка лет двадцати и ухмылялась во весь рот. Она уже совершила свой утренний туалет и была густо накрашена, а на груди у нее болталось какое-то ожерелье из цветного стекла — видимо, подарок зека.

— Ты как здесь оказалась? — заорал надзиратель.

— Обидели меня, начальникек, изнаильничали,— заголосила женщина,— затащили вонючки в колонну, ножом пригрозили. А твои козлы на вахте не разглядели, пропустили в зону. Вот до чего дожили, нигде бедной женщине защиты нет!

Стали проверять заключенных по формулярам, и выяснилось, что из лагеря бежал вор-рецидивист, осужденный на двадцать лет. Начальство неистовствовало. Вызвали прокурора, чтобы получить у него санкцию на арест пособницы в побеге, однако прокурор такой санкции не дал. Дело выглядело так, что следовало привлечь к ответственности администрацию лагеря.

На следующий день после короткого допроса женщину отпустили. Выйдя за запретку, она обернулась и стала кричать:

— До свидания, мальчики, извините, если что не так! Сашок вам напишет, как пойдут дела.

— Прощай, Машка, привет Сашку,— орала в ответ ее новые друзья.

Надзиратели мрачно смотрели на происходящее.

Одному лихому побегу я был свидетелем сам. Это случилось поздней осенью, снег еще не выпал, но было уже холодно. Я сидел один в конторке лесобиржи и готовил документацию по погрузке, когда открылась дверь и вошел высокий, красивый парень лет двадцати, одетый в лагерную телогрейку, тщательно подогнанную по фигуре, и в модной вольной кепке.

— Здорово, — сказал он, довольно бесцеремонно усаживаясь возле стола.

— Здорово, — ответил я, вопросительно на него посмотрев.

— Десятник-бракер?

— Да.

— Сидишь давно?

— Шестой год.

— Стаж подходящий! Небось пятьдесят восьмая, пункт десять?

— Да.

— Чего-то сказал, кто-то продал?

— Именно так.

— Ненавижу стукачей, давить их надо!

— Да кто их любит!

Парень вынул пачку папирос, и мы закурили.

— А что, с этого телефона можно позвонить на вахту?

Я ответил утвердительно. Вопросы парня показались мне странными, но их смысл я понял лишь позднее.

Мы перебросились еще несколькими словами. Парень вышел из конторки и направился к запретке. Надо сказать, что в тот год лагерное начальство, чтобы сократить число постов вокруг заводской зоны, распорядилось уменьшить ее общую площадь. Всю основную часть лесобиржи вынесли за пределы зоны, а ограждение с запреткой установили в непосредственной близости от конторки. В ограждении были сделаны ворота, рядом с которыми установили вышку. На вышке находился часовой, наблюдавший за тем, как вольные шоферы вывозили на лесовозах с завода пиломатериал или, наоборот, привозили его для погрузки в заводскую зону. Из окна конторки я мог видеть большой отрезок лесовозной дороги, колючую проволоку ограждения, запретку и ворота с вышкой.

Лесовоз представлял собой высокое, громоздкое сооружение, наверху которого помещалась кабина с водителем, а в нижней части между четырьмя колесами были вмонтированы зажимы из тонких и узких полос железа. Для того чтобы ухватить пакет с пиломатериалами (так называемые «сани»), водитель должен был наехать на него таким образом, чтобы пакет оказался между полосами зажима. Движением рычага он зажимал доски и поднимал их, после чего пакет можно было перевозить. Работа эта требовала от водителя некоторого навыка и глазомера, так как при неточном наезде можно было рассыпать пакет с досками.

В этот день два лесовоза почти непрерывно курсировали назад и вперед, завозя на заводскую железнодорожную эстакаду предназначенный для погрузки пиломатериал. Из зоны на лесобиржу они возвращались порожними. Часовой на вышке знал вольных шоферов в лицо и лениво наблюдал за движением лесовозов, изредка обмениваясь с водителями различными замечаниями. За пределами зоны заключенные женщины под специальным конвоем штабелевали доски.

Парень подошел к запретке и стал перекликаться с женщинами. Скучающий на вышке часовой с интересом прислушивался к обмену репликами. Потом-то я понял, что парню было важно приучить часового к своему постоянному присутствию возле ворот ограждения. В самом общении уголовника с женщинами через запретку не было ничего необычного или подозрительного.

Осенью на севере рано темнеет, да и день этот выдался пасмурным. Был туман. К четырем часам пошел снег. И тут у меня на глазах, как в детективном фильме, совершилось поразительное действие. Когда разгрузившийся на заводской эстакаде лесовоз на большой скорости возвращался порожним на лесобиржу, парень весь изогнулся, прыгнул и с ловкостью акробата стал двумя ногами на тонкие полосы металлического зажима между колесами. Через секунду он оказался вместе с мчащимся лесовозом за пределами зоны. От глаз часового его скрыла кабина водителя. Я невольно зажмурился, а когда открыл глаза, увозивший парня лесовоз уже исчез из поля зрения.

Тут я понял смысл озадачивших меня вопросов. Парню важно было меня прощупать — кто я такой, есть ли опасность, что позвоню на вахту и предупрежу охрану.

Вечером, когда заключенные собрались на заводской вахте, ожидая конвоя, я шепнул друзьям, что мы, вероятно, не скоро попадем в жилую зону. Так оно и вышло. Сперва надзиратели, как всегда, лениво нас пересчитали. Выяснилось, что одного не хватает. Нас пересчитали снова, а затем стали проверять по формулярам. Тут мы узнали, что ушел известный вор-рецидивист по кличке Красавчик, уже не раз убегавший из мест заключения. Больше мы его не видели. Ходили слухи, что он якобы прислал начальнику лагеря издевательскую телеграмму: «Проехал Ростов, настроение хорошее, Красавчик». По всей видимости, слухи эти были одним из вариантов популярного в лагере фольклора.

ПРОФЕССИОНАЛ

Шел пятый год моей лагерной жизни и первый год после смерти Сталина. Только что прошла так называемая бериевская амнистия, в результате которой освободилось множество уголовников, и на их место на наш ОЛП привезли большую группу двадцатипятилетников, осужденных за измену родине по статье пятьдесят восемь, пункты один А и один Б. В нашем бараке появились новые люди. В один из осенних вечеров 1953 года ко мне подошел человек лет пятидесяти, высокий, голубоглазый, рано полысевший блондин с крупными чертами лица и представился — Пауль Б.

— Я о вас узнал, когда находился на другом ОЛПе, от такого-то (он назвал фамилию моего знакомого Леопольда Кальчика, выпускника философского факультета Ленинградского университета, погибшего на одном из лесоповальных ОЛПов нашего лагеря). Он мне рассказывал, что вы — востоковед, а я давно интересуюсь восточной культурой и религией, особенно буддизмом и исламским суфизмом. Хотел познакомиться.

Мы разговорились. А через несколько дней Пауль переехал ко мне поближе на соседние нары.

Пауль оказался аккуратным соседом, что при барачной скученности было немаловажно. Он был любознательным собеседником, читал все, что было нам доступно по истории восточных культур, и довольно много о них знал. Ко мне Пауль относился с подчеркнутым вниманием и проявлял заботу о моих нуждах. Отличный мастеровой, человек, как говорят, с золотыми руками, он по собственной инициативе занялся моим несложным имуществом, сколотил для меня в ремонтно-механических мастерских, где работал, прочный деревянный ящик, приспособил к нему замочек собственной конструкции и торжественно вручил в день моего рождения. Вечерами он охотно и подробно рассказывал о своей жизни.

Мой новый знакомый родился в семье немецкого колониста где-то в районе Славянска и с детства два языка, русский и немецкий, были для него родными. Как и все немецкие колонисты, его предки были людьми зажиточными. У родителей Пауля был большой каменный дом с многочисленными подсобными помещениями, отличный породистый скот и по тем временам весьма совершенная сельскохозяйственная техника. Отец Пауля знал и любил не-

мецкую литературу и был ее горячим популяризатором среди немцев односельчан. Он организовал в колонии самодеятельный немецкий театр, в котором разыгрывались пьесы классического немецкого репертуара — чаще всего Шиллер, причем Пауль с ранних лет принимал в театральной деятельности отца самое горячее участие. Особо Пауль считал нужным подчеркнуть, что со сцены их маленького театра не сходила драма Лессинга «Натан Мудрый».

Жизнь в сельской местности не соответствовала честолюбивым замыслам молодого Пауля, и при первой же возможности вопреки воле отца, с которым он позднее из карьерных соображений прервал всякие отношения, он перебрался в город, сумел поступить на рабфак, потом, несмотря на воспринятое в семье критическое отношение к существующему режиму, вступил в партию и вскоре был послан в Москву на курсы, готовившие газетных работников для провинциальной прессы. Окончив их, он стал сперва корреспондентом, а затем и заместителем главного редактора областной одесской газеты. О своем «кулацком» происхождении Пауль никогда и никому не сообщал, и, таким образом, прошлое не мешало ему делать партийную карьеру.

— Я был на хорошем счету в газете, — не без гордости говорил мне Пауль, — мне обычно поручали писать самые ответственные передовые, особенно во время важных политических кампаний. Тут я впервые понял, что мое мнение по тому или иному вопросу никого не интересует и что я обязан в статьях лишь проводить политическую линию партии. Особенно меня потряс поворот в отношениях с фашистской Германией в 1939 году. Еще вчера я писал о фашистских злодеяниях, а сегодня я должен был сочинять статьи о любви немецкого народа к Гитлеру. Постепенно я все больше привыкал к тому, что одно могу думать, а другое должен делать, говорить и писать.

Началась война, и Одессу заняли румынские войска. Некоторое время Пауль ходил без работы, а потом сумел устроиться в местной газете, издаваемой румынскими оккупационными властями. Эта работа Паулю не нравилась, к тому же хотелось окунуться в немецкую культуру, поэтому при первой же возможности, воспользовавшись предложением одной берлинской газеты, Пауль перебрался в Берлин, где сотрудничал с разными немецкими газетами и журналами, куда писал, по его словам, лишь о культуре,

быте и нравах российского юга.

Война подошла к концу, в Берлин вступили советские войска, и вскоре в советской зоне оккупации, где жил Пауль, была основана новая газета. Руководили ею присланные из Советского Союза главный редактор и три его заместителя, а весь остальной штат, более двухсот человек, был укомплектован из немецких журналистов. Разумеется, Пауль, свободно владевший и немецким, и русским и поднаторевший в законах и нормах советской прессы, был для вновь основанной газеты ценнейшим сотрудником.

— Я мог без всякого труда перебраться в западную зону Берлина, граница тогда была открыта,— говорил Пауль,— но не сделал этого, потому что не чувствовал за собой никакой вины перед советской властью. Да к тому же мне очень хотелось побывать на родине.

Тут началась проверка на лояльность немецких сотрудников газеты. Оказалось, что большая часть работавших в ней журналистов в той или иной степени была скомпрометирована в прошлом участием в фашистской прессе. Их никто трогать не собирался. Но с Пауля, бывшего советского гражданина, спрос оказался другой.

— Меня вызвал главный редактор,— рассказывал Пауль,— и заявил: «Оказывается, ты работал в фашистских газетах!»

«Да, я писал для немецких газет статьи по культуре и никогда этого не скрывал»,— ответил Пауль.

«Но как же это сочеталось с твоими политическими убеждениями,— спросил редактор,— ведь ты же был коммунистом?»

«А какое это имеет отношение к моим политическим убеждениям? — ответил Пауль.— Я — профессионал-журналист. Портной шьет платье по заказу, инженер строит согласно проекту, а мое дело — грамотно и убедительно писать в соответствии с установками, которые мне дают мои заказчики, руководители газеты, для которой я работаю. Вы что, недовольны качеством моих статей?»

Главный редактор со мной не согласился,— продолжал Пауль,— меня выгнали с работы как коллаборациониста, а через несколько дней арестовали как изменника, сотрудничавшего с врагом, и осудили на двадцать пять лет.

Все это Пауль мне подробно рассказывал, как бы предполагая во мне единомышленника. Хотя жизненная уста-

новка Пауля, мягко выражаясь, не вызывала во мне сочувствия, попрекать его мне не хотелось, ему и так было воздано полной мерой. Я лишь осторожно заметил, что, по-моему, человек во всякой деятельности должен исходить из моральных критериев, иначе возникает опасность незаметно перейти зыбкую грань, отделяющую допустимое от преступного. Пауль вроде бы на это не возражал.

Как и у многих старых лагерников, у Пауля в женской зоне была возлюбленная, с которой он регулярно переписывался. Иногда ему удавалось организовать с ней свидание, для чего он давал взятку нарядчику, и тот его включал в ремонтную бригаду, направляемую в женскую зону. Однажды надзиратели перехватили письмо Пауля, и он за нарушение режима отсидел десять суток в штрафном изоляторе. Непрочь Пауль был и выпить, и его однажды задержали со спиртным во время обыска на вахте, что также стоило ему нескольких суток лагерного карцера. Но нарушения режима сходили обычно Паулю с рук, так как в механических мастерских его ценили как опытного и добросовестного работника.

После смерти Сталина из Москвы последовала команда усилить воспитательную работу среди зека. Стали всячески поощрять организацию самодеятельности заключенных. Вечно пьяный инспектор КВЧ, лейтенант Г., усиленно вербовал из числа зека артистов, музыкантов и певцов и готовил с ними программы к государственным праздникам. Одним из первых на его призыв откликнулся Пауль. Он неплохо играл на баяне и быстро стал ведущим музыкантом в кружке самодеятельности. Решили устроить концерт на лагерную тему, и Паулю как опытному журналисту было поручено составить программу и сочинить тексты.

Вечерами Пауль добросовестно работал над репертуаром. Программа была составлена под руководством инспектора КВЧ. До самого концерта тексты сохранялись в тайне, кроме занятых в концерте исполнителей, о них никто не знал. Наконец настал долгожданный день. Не избалованные развлечениями работыги собрались в столовой, где были расставлены деревянные скамьи, и разместились частично на них, частично на полу и подоконниках. На сцене вокруг бюста Ленина были развешаны портреты членов Политбюро. Мое неизбывное любопытство заставило и меня отправиться на это зрелище.

После краткого выступления лейтенанта, из которого следовало, что заключенные своей счастливой жизнью обязаны исключительно заботам партии и правительства, последовали концертные номера: трое эстонцев сыграли несколько мелодий на скрипках, четверо украинцев отлично спели несколько народных песен, а один бытовичок, бывший актер, с большим пафосом прочел какие-то стихи о Ленине.

Но гвоздем программы были назидательные песни на лагерные темы, тексты которых сочинил Пауль на мелодии популярных советских песен. Сам Пауль вышел с баяном на сцену и, повернувшись лицом к бюсту Ленина и портретам членов Политбюро, пропел довольно приятным тенором под аккомпанемент баяна песню собственного сочинения, из которой следовало, что лично он, Пауль, всем, что у него есть, обязан партии и правительству, то есть в зарифмованном виде повторил главный тезис доклада инспектора КВЧ. После этого на сцену один за другим стали выходить певцы. Одни пели о замечательном социалистическом строительстве, в котором самое активное участие принимают заключенные нашего лагпункта, старающиеся выполнять и перевыполнять государственные планы, другие — о необходимости повысить производительность труда. Слушая эти идиотские песни, можно было подумать, что речь в них идет о пламенных энтузиастах, трудящихся сугубо добровольно себе и другим на радость, а не о несчастных заключенных, которых гоняют на одиннадцатичасовой рабочий день под конвоем. Некоторые из певцов бичевали общественные пороки: разоблачали лодырей, отказников и других нарушителей трудовой дисциплины. В песнях рассказывалось о плохих дядях, которые норовят встретиться с возлюбленными, носят в зону спиртное, нарушают правила переписки и совершают другие незаконные действия. Казалось, Пауль, сочиняя эти песни, взялся в них рассказать о своих собственных прегрешениях. Мне запомнился припев к песне об одном бесконвойном, который напился за зоной, был водворен в ШИЗО и законвоирован:

Имел я пропуск, гулял повсюду,
Отныне больше гулять не буду.
За что суровый мне жребий дался?
За то, что выпил я и подрался!..

Песню эту хриплым баритоном на ломаном русском языке пел какой-то двадцатипятилетний из прибалтов, которому, если бы он до этого дожил, может быть, удалось бы стать бесконвойным эдак лет через двадцать.

Я ничего не сказал Паулю по поводу его творчества, но все же ему, видимо, было передо мною стыдно, а может быть, стыдно перед собой. Когда мы встретились после концерта в бараке, он вдруг взволнованно заговорил, путаясь в словах и запинаясь:

— Вы, конечно, думаете, что эта моя халтура недостойна порядочного человека. Сочинять такое заключенному, сидящему по политической статье, неприлично. Но я — профессионал и всю жизнь работал на заказчика. Каков заказ, такова и продукция. Аморально! Безнравственно! А когда живущие на свободе писатели на все лады прославляют существующий режим и за это получают гонорары и премии, это что, нравственно? Они что, не знают, что крестьяне живут, как при крепостном праве, не имеют паспортов и работают в колхозах за кусок хлеба, а миллионы ни в чем не повинных людей сидят по тюрьмам и лагерям? Они что, верят в светлое будущее и в торжество коммунизма? Они — профессионалы и продают свой труд, но делают это по более высоким ставкам, чем я. Так за что же вы упрекаете меня, зека, в том, что я сочинил всю эту галиматью, чтобы хоть немного отдохнуть от опостылевших мне подневольных работ? Вот и следовательно, и прокурор меня упрекали: тебе все дала советская власть, а ты пошел на службу к фашистам. А кто меня научил двоемыслию, не эта ли самая власть? А они сами кому служат? Они не знают, что фабрикуют липовые дела? Шолохов, прославивший коллективизацию в «Поднятой целине», не знал, сколько горя она принесла миллионам крестьян? Все-то он понимал и знал, а ведь он — человек свободный. Так чего же тут требовать от человека подневольного! Вот и у нас тут, в лагере, как я слышал, интеллигент, кандидат наук А., сочинил в честь Сталина поэму, в которой ругал американских империалистов. Там даже строчки такие были: «Дядя Сам и тетя самка!» Очень остроумно! Но ведь он, бедняга, зека, освободиться через эту поэму мечтал. А писатель Л. Леонов выступил в печати с предложением начать новое летосчисление со дня рождения Сталина! Обласканный властью, на воле выступил!

Мне с трудом удалось вставить слово:

— Но ведь так можно до чего угодно дойти и что угодно оправдать. Где тут грань?

Пауль на меня как-то странно посмотрел и ничего не ответил.

После этого разговора само собой так получилось, что мы с Паулем стали реже общаться. После очередного переселения он оказался в другом бараке, и мы лишь случайно встречались на улице. Поговаривали, что его ночами таскают к оперуполномоченному, а это всегда вызывало у зека подозрения. Как-то я его видел во дворе зоны — он очень похудел и производил впечатление тяжело больного человека. Однажды распространилась странная весть: Пауль, совершенно трезвый, подошел около вахты к сотруднику оперативного отдела и смачно плюнул ему в физиономию. Его арестовали и возбудили против него дело по обвинению в нападении на охрану. В тюрьме он рассказывал сидящему под следствием моему знакомому, что кум замучил его ночными вызовами и требованиями сотрудничать с надзором и он совершил свой поступок, чтобы навсегда избавиться от назойливых предложений и угроз.

— Я — двадцатипятилетний, — сказал он знакомому, — что они со мной сделают? Расстрелять меня за это не могут, а добавляют срок — так ведь и этот я до конца не высижу, помру. Надоело мне танцевать под их дудку, пусть они теперь со мной сами попляшут!

Вот когда, оказывается, и перед Паулем возник непреодолимый рубеж.

Немного позже Пауля этапировали в какие-то дальние лагеря, и больше о его судьбе я ничего не слышал.

КОЛХОЗНИК

Настоящего его имени никто не знал, между собой заключенные называли его просто колхозник. В этом прозвище, возможно, отразилось исконное презрение уголовников к мужикам, по их понятиям, людям тупым и корыстным в отличие от них самих. Это был человек лет пятидесяти, среднего роста и крепкого телосложения. Он уныло бродил по лагерной и заводской зонам в поношенной и грязной военной гимнастерке, все время что-то выискивая и вынюхивая. Туповатое, с тяжелым подбородком и густыми бро-

вами лицо его выражало одновременно и крайнюю озлобленность, и какую-то затаенную тоску. Казалось, что его голова была все время занята какой-то навязчивой и горькой мыслью, постоянно не дававшей ему покоя. Но при этом его маленькие светло-серые глазки зорко и настороженно смотрели вокруг и замечали всякий режимный непорядок. Особое удовольствие он испытывал, охотясь за нарушителями, сумевшими раздобыть спиртное или устроить любовное свидание. Если ему удавалось поймать виновных на месте преступления, обычная угрюмость исчезала с его лица, и он с наслаждением, даже с каким-то садизмом записывал имена провинившихся и добивался для них штрафного изолятора.

Между собой заключенные говорили и о его мелочной жадности, истинной причины которой, разумеется, никто не знал. Он любил заниматься раздачей домашних посылок, так как заключенные обычно совали ему что-либо из присланного. Тогда он оживлялся, глаза его светились откровенной радостью, но, сохраняя престиж, он говорил:

— Ишь грязи на столе навалили-то сколько. Прибрать бы надо!

После этого он тщательно упаковывал доставшуюся ему добычу в заранее припасенный для этой цели мешок.

Уголовники знали о его слабости. Когда он в своих бесконечных поисках нарушителей появлялся на заводе, кто либо из работяг будто бы невзначай ронял:

— Я там у сортировки под опилками бутылку видел. Надо бы подобрать, все же деньги.

— Пошто болтаешь-то лишнее,— говорил колхозник,— давно в ШИЗО не был!

И хотя надзиратель понимал, что над ним смеются, он не мог удержаться от соблазна, и через несколько минут заключенные со злорадством наблюдали, как он отправлялся по указанному адресу в поисках легендарной бутылки.

Меня колхозник особенно невзлюбил. Однажды в рабочее время в жилой зоне производился очередной повальный обыск, и, копаясь в моем скудном имуществе на втором этаже барачной вагонки, он наткнулся на станочек безопасной бритвы. Заводские обычно брились на работе, где у меня хранились лезвия, которые мне покупал в поселке один бесконвойный. Найдя станочек, надзиратель, естественно, заподозрил, что где-то спрятано и лезвие, и стал методично

осматривать и прощупывать каждую вещь в поисках холодного оружия. Тщательнейшим образом, чуть не выламывая доски, он обследовал все отверстия в нарах вагонки. Он был убежден, что я, старый лагерник, нашел способ спрятать лезвия, и его профессиональная честь опытного следопыта была, видимо, задета. Заключение, бывшие в бараке во время обыска, мне рассказывали, что он был взбешен и грозился, что посадит меня суток на пятнадцать в ШИЗО, где я стану «тонким, звонким и прозрачным». Но, как известно, не пойман — не вор. Эта неудача его очень обескуражила, он стал за мной особенно внимательно следить и придирался по всякому поводу.

Вскоре произошло еще одно событие. Приближался Новый год, и наша небольшая компания вознамерилась его отметить. Я взялся принести в зону «горючее», ибо полагал, что такого законопослушного зека, как я, охранники вряд ли заподозрят в попытке нарушить режим. Операция прошла успешно. Один бесконвойный шофер привез мне на завод бутылку водки, и я, затесавшись в колонне между зека, понес ее в зону. У вахты я засунул бутылку в широкий рукав бушлата и, придерживая ее за горлышко и высоко подняв руки, двинулся навстречу обыскивающему. Был очень холодный декабрьский вечер, охранники торопились поскорее окончить досмотр и, похлопав меня по животу и спине, прощупав карманы бушлата и проведя ладонями по нижней части брюк, надзиратель пропустил меня в зону.

Вечером в канун Нового года мы впятером усадились на нижних нарах вагонки, извлекли, у кого что было из присланного домашними, и запировали. Инстинкт лагерника подсказал мне, что следует проявить благоразумие. Часа за полтора до наступления Нового года я предложил друзьям распить спиртное. Так мы и сделали, а пустую бутылку выбросили из барака. Примерно без четверти двенадцать, когда мы мирно попивали чай и беседовали, дверь барака распахнулась и вошли, вернее сказать, ворвались надзиратели, причем каждый устремился к какой-либо из сидевшей за новогодним застольем компании. Колхозник ринулся прямо к нам. Он тщательно проверил, из чего состояла наша скромная трапеза, и хотя по нашему довольному виду догадался, что мы уже угостились, никаких прямых улик против нас найти не сумел. Злобно на меня взглянув и матюкнувшись, он отправился обыскивать дальше, с зави-

стью взирая на своих более удачливых товарищей, сумевших заполучить в другом конце барака ценные трофеи.

В нашем бараке проживал пожилой крестьянин из Западной Украины, с которым я частенько беседовал на разные темы. Звали его Семен. В 1940 году его как кулака и социально чуждого вывезли в Сибирь, а после войны арестовали за антисоветскую агитацию. Семен был человеком примечательным. Природа щедро наделила его тем, что мы обычно именуем здравым смыслом и мягким украинским юмором, столь ценным в тягостном лагерном существовании. Нисколько не идеализируя жизнь в довоенной Польше, он вместе с тем вполне разобрался и в жизни советской, постоянно иронизируя над ее теоретическим обоснованием в виде идеи социального равенства, счастливого будущего при коммунизме и тому подобными, стертыми от частого употребления, бессмысленными понятиями. Он откликался на всякое, самое незначительное событие лагерной жизни, с большим пониманием обобщал его до государственного уровня, и его наблюдения над советской действительностью и суждения о ней всегда были удивительно точны и глубоки. Это был настоящий народный философ-резонер, образ которого донесла до нас русская классическая литература и который почти полностью исчез в послереволюционной России, уцелев лишь на окраинах бывшей империи. Мне всегда было интересно с ним беседовать и выслушивать его суждения на разные темы. В лагере ему помогала жить редкая специальность опытного печника, и начальство широко его использовало для сооружения и ремонта домашних печей.

Как-то на завод не подвезли пиловочника, и начальство соизволило объявить свободный день. Мне предстояло либо валяться на нарах, либо слоняться с утра до вечера по душному барaku. Ни то, ни другое радости не сулило. Я поделился с Семеном своей маятой, и он предложил:

— Есть наряд на ремонт печи у одного вертухая, и, если надзор не воспротивится, я бы взял тебя подсобником. У тебя же пятьдесят восемь, десять, половину срока ты отсидел, и тебя могут выпустить за зону с одним конвоиром.

Ни надзор, ни нарядчик не воспротивились — кого еще нарядчик мог уговорить в свободный день добровольно идти ишачить. К нам приставили солдата, и мы отправились по указанному адресу.

Был зимний морозный, но солнечный день, и я с интересом смотрел по сторонам, шествуя под конвоем по мостовой поселка, который я до этого дня видел лишь один раз несколько лет тому назад, когда нас пригнали в лагерь этапом.

Мы подошли к жалкой развалюхе на окраине поселка и постучали в дверь. Послышалась возня, и на пороге появилась маленькая, растрепанная, одетая в рваную лагерную телогрейку женщина.

— Чего надо-то? — спросила она недружелюбно с характерным для местных жителей выговором.

— Наряд у меня, печку ремонтировать, — сказал Семен.

Женщина молча повернулась и вошла в дом. Мы последовали за ней, а конвоир остался во дворе поболтать с подвернувшимся приятелем. Весь дом состоял из маленьких сеней и сравнительно обширной комнаты, в углу которой была большая, явно неисправная печь, которая сильно дымила. Представившееся зрелище могло озадачить даже привычного ко всему лагерника. Все имущество семьи состояло из грубо сколоченного, некрашеного стола, двух больших длинных скамеек и колченогого стула. В одну из стен было вбито несколько гвоздей, на которых висели телогрейки и бушлаты явно не первого срока и, несомненно, лагерного происхождения. Посреди комнаты на полу копошились четверо детей в возрасте примерно от года до шести лет. Повсюду валялись их игрушки. Это были всевозможные, конфискованные у лагерников при обысках изделия: обрывки самодельных игральные карт, какие-то ножики и колечки из металла, изготовлявшиеся в большом количестве лагерными умельцами для хозяйственных нужд и в качестве украшений, косточки домино и несколько шахматных фигур, скорее всего, позаимствованных из КВЧ. Одеты дети были в какие-то отрепья, а самый маленький и вовсе ползал голышом. Но что повергло меня в крайнее изумление, так это вид главы семьи — нашего колхозника, сидевшего, покачиваясь, на трехногбм стуле. Рядом с ним на столе стояла початая бутылка водки. Колхозник уже изрядно поднабрался, но еще не совсем опьянел. Он уставился на нас каким-то мрачным, отрешенным взглядом, видимо, пытаясь вспомнить, где нас видел.

Между тем Семен быстро осмотрел печь и вынес заключение:

— Никуда не годится, надо все переложить.

Мы принялись за работу. Я выносил на улицу обломки старых кирпичей, приносил новые, подготавливал раствор — словом, делал все, что мне указывал Семен.

Пока мы работали, надзиратель то и дело прикладывался к бутылке и к середине дня был, как говорится, хорош. Нас он наконец признал и даже назвал меня по фамилии. К этому времени хозяйка вскипятила у соседки воду, наварила целый чугунок картошки, и семейство село обедать. Нас, неприкасаемых, хозяйка, разумеется, угощать не собиралась и к столу не пригласила.

Мы также вытащили захваченные из зоны пайки и другие припасы. У Семена было полученное из деревни от родных крестьянское сало, а у меня — кусок колбасы и несколько дешевых карамелек — остаток присланной отцом посылки месячной давности. Когда я развязывал свой мешочек, четверо отпрысков семейства смотрели на меня такими жадными, ищущими глазами, что мне ничего не оставалось, как поделиться с ними колбасой и дать каждому по конфете. То же сделал и Семен, за что мы получили от хозяйки в дар по горячей картофелине. Поев, мой общительный спутник вступил с хозяином в беседу.

— Ты, что ж, из крестьян будешь? — спросил он.

— Да-а-а,— как-то неуверенно промычал надзиратель.

— А чего ж в вольнонаемные надзиратели пошел, не крестьянствуешь? Из-за денег, что ли? И живешь так бедно и грязно. Даже огорода не развел и свиней не держишь. Небось все пьешь? Вот и стул починить не можешь, того и гляди на пол свалишься. И вешалку сколотить не сумел, на гвоздях одежда висит.

Колхозник отвечал вяло, нехотя, с трудом ворочая языком. Его уже крепко разобрало, лицо приняло странное, словно сомнамбулическое выражение, и он, более не слушая вопросов собеседника, стал произносить свой пьяный исповедальный монолог, который я попытаюсь воспроизвести более или менее точно.

— Все вы талдычите: «Из-за денег, из-за денег служить пошел». А что я сделать мог? Отец пономарем в деревне служил. Жили в достатке. Пошло раскулачивание. Рядом лагерь открыли. Меня опер вызвал, говорит: «Ты из кулаков,

служителей культа, чуждый элемент!» Я: «Нет, нет!» А он: «Ты должен доказать верность нашему строю. Пойдешь к нам в лагерь надзирателем. Будешь обо всем, что услышишь, мне лично докладывать». Я и пошел. Поначалу не очень-то старался. Да вышел случай. Земляк в лагере был, наш, вологодский. Все разное говорил, больше про колхозы, а я помалкивал. Вызывает меня опер опять. «Ты что ж, мать твою так, советскую власть обманываешь? Мужик антисоветчину прет, а ты молчишь, покрываешь! Мы ж тебя, болвана, проверяли, он же наш человек. Еще раз поймаю — пеняй на себя!» Не верю я больше вашему брату-зека. Любой продаст. Вот уже скоро двадцать лет, как служу. Всю войну в надзирателях проходил, врагов народа стерег. Все вы гады, ненавижу я вас.

Колхозник все больше хмелел, полились пьяные слезы. Речь его стала совсем бессвязной, и, положив голову на стол, он заснул. Мы еще часа полтора поработали, пока уставший от безделья конвоир не погнал нас в зону.

По дороге Семен резонерствовал:

— Выхода у него не было, служить пошел. Ишь ты! Эти шкуры всегда так оправдываются. Бога у них нет. Заставили его! Не признаю я этого. Меня сколько раз вербовали, в дятлы хотели записать, стукачом сделать. У нас в Львовской области каждого второго вербуют. А этот честного труда испугался. С нашим братом, зека, зверует, совести нет. Его, видите ли, заключенный предал! И что он со своего надзирательства поимел — живет хуже собаки!

Слегка помолчав, Семен добавил:

— А так подумать, всем плохо, и зека, и стражникам.

— Ну разница, положим, есть,— робко вставил я.

— Нет разницы,— отрезал мой философ,— при этом строе все заключенные. Одни лишь временно без конвоя гуляют. На всех печать Каинова!

На следующий день колхозник во время работы появился на лесобирже. Он внимательно на меня посмотрел, явно стараясь что-то вспомнить. Чувствовал, что накануне сболтуил лишнее, но что именно, видимо, вспомнить не мог. Он подозвал меня:

— Ну ты, того, что я вчера по пьянке говорил, о том молчок. А то сам знаешь... Тебе, зека, все равно не поверят,— просительно и вместе с тем с угрозой в голосе сказал он.

— Да я и не помню, что вы там вчера говорили,— успокоил его я.

— То-то же, не помнишь,— согласился со мной надзиратель. У него был вид затравленного и усталого человека. Больше он ко мне не цеплялся и, казалось, меня избегал.

ЛАГЕРНАЯ МЕССАЛИНА

Я укладываю доски в штабель. Рубашка моя на спине под телогрейкой намокла от пота, хотя на дворе стоит зимняя архангельская стужа, и я ритмично, чисто механически, снимаю с саней все новые опостылевшие доски и толкаю их наверх. При этом мои мысли витают далеко за пределами лагерной зоны. Курсирующий между лесоцехом и лесобиржей лесовоз доставляет мне вагонку — доски, предназначенные для сооружения железнодорожных вагонов, и я уже достаточно опытен, чтобы отличать их от всяких других пиломатериалов. Но я — лагерник, труд мой — подневольный, качество работы и ее смысл меня не волнуют, и когда лесовозник по ошибке подбрасывает к моему рабочему месту доски, не подлежащие воздушной сушке, я все равно спешу уложить их в штабель — лишь бы набрать кубатуру и выполнить норму.

Неожиданно хриплый женский голос с характерным северным произношением прерывает поток моих невеселых мыслей и возвращает меня к реальной действительности.

— Пошто в вагонку-то обычные пилообрезные ложишь, пошто сорта мешаешь!

Я оборачиваюсь и вижу невысокую женщину лет сорока с хозяйственной сумкой в руках, в старом поношенном пальто и кокетливо надетом набок берете. Ее помятое лицо похоже на печеное яблоко, а маленькие, невыразительные серо-голубые глазки смотрят на меня внимательно и даже пронзительно. Вольняшка, мелькает у меня в сознании, верно, какой-нибудь чин из заводской администрации.

— Что привозят мне, то и штабелюю, — угрюмо бормочу я.

— Вот я пойду, бригадиру втык сделаю, небось гад спит в курилке, мышей не ловит!

Подобный оборот дела меня не устраивает. Бригадир прекрасно знает, что я разбираюсь в пиломатериалах, верит мне и за пересортицу будет мне нагоняй, да и бригадира

подводить не хочется. Чертыхаясь, залезаю на штабель, скидываю одни доски и заменяю другими.

В перерыв в курилке работяги рассказывают историю этой женщины. Надежда Васильевна — главный бракер завода — состоит в этой должности уже много лет. Мужа у нее не было и нет, но есть семилетний сын. Хотя пользы от нее мало, ее все же держат на работе. Она, по-видимому, докладывает в управление обо всем, что творится на заводе, но зека ее за это не осуждают, потому что она стучит не на них, а на заводское начальство. Вообще же она баба хорошая, добрая, как говорят работяги, ходовая, и многих зека она благодетельствовала своим женским вниманием.

Со временем я стал бракером лесобиржи и, таким образом, попал в некоторую зависимость от Надежды Васильевны, или Надьки, как ее на заводе все называли. Она часто навещала меня на лесобиржу, давая мне различные ЦУ, и вскоре прониклась ко мне особым доверием. Подобно римским матронам, не считавших рабов за людей и ходивших в присутствии слуг голыми, Надька с наивной откровенностью посвящала меня в свои интимные дела. Поскольку меня, зека, она человеком не считала, я считал себя вправе, в свою очередь, смотреть на нее глазами естествоиспытателя и изучать ее как особый вид советско-лагерной людской породы.

— Вообще-то я — некрасивая, знаю это, — говорила она. — Но в лагере баб нет, вот мужики ко мне и липнут. А как попробуют — не могут оторваться. Я уж как дам, так дам. Не то что ваши столичные птахи. Сладости в них нет, хоть и слабаки они на передок. Видела я их. Ты не смотри, что я худая, силенка во мне есть. С детских лет я приучена к труду, все с лесом вожусь. Ездила я прошлым годом на курорт в Сочи, путевку мне дали, насмотрелась. Кому я там нужна, там красотки ходят о-го-го какие. Не понравилось мне на юге, люблю я наш север. Люди здесь хорошие, простые. Тут я королева, на кого глаз положу, тот и мой. Сама выбираю.

Надзиратели смотрели на похождения Надьки сквозь пальцы, ограничиваясь ядовитыми шуточками в ее адрес. В какой-то мере она была им нужна как надежный соглядатай, а в какой-то мере одинокая, неприкаянная землячка вызывала у них сочувствие. Надька не таилась, считала себя женщиной честной и порядочной хотя бы уже потому, что

всякий раз свято блюла верность очередному возлюбленному. Обычно она выбирала себе молодых, красивых парней из уголовников. Ее партнеры также тайны из своих любовных связей не делали. Помню, как один блатнячок почти ежедневно бегал к нам на лесобиржу в поисках заначки для свидания с нею.

— Надоел мне Колька своими заначками, — доверительно говорила мне Надька, — как приспичит, так зовет. Вроде я у него раба. Совсем обнаглел. Проучить его следует, погоню я его.

— Что это вы, Надежда Васильевна, так часто меняете своих возлюбленных, — спросил как-то я, — верность долго не храните?

— А что им, паскудам, верность-то хранить? Сегодня, пока он в лагере, я ему дорога и любима, а завтра освободится, уедет и забудет. На воле баб навалом. А по мне — пусть катится. Хоть день, да мой, — отвечала Надька.

Особенно ценила Надька острые ситуации. Однажды при мне на лесобиржу прибежал один из ее ухажеров, бесконвойник, сидевший за какие-то хищения в армии, и устроил ей сцену ревности. Весь дергаясь от возмущения и злобы, он кричал:

— С кем ты вчера на станции стояла, сука? Думаешь, я не знаю о твоём блядстве? Тварь позорная. Гад буду, прирежу тебя.

Надька ничуть не обиделась и только загадочно улыбалась. В ее бесцветных глазках появились озорные огоньки. Она явно была польщена и даже как-то преобразилась и похорошела. Присутствовавших Надька ничуть не стеснялась, интерес свидетелей к происходящему лишь тешил ее женское тщеславие.

Как-то зимой в конторе лесозавода появился молодой экономист, парень лет двадцати восьми — тридцати, некий Леша, сидевший по пятьдесят восьмой статье по обвинению в измене родине. По его словам, он был со специальным заданием заброшен к немцам в тыл, но вскоре понял, что выполнить это задание не сумеет. Тогда он нанялся батраком к богатой немецкой фермерше, а потом стал ее сожителем. Когда в конце 1944 года советские войска пришли в Германию, его арестовали, и он получил обычную для того времени десятку. Позднее по подобным делам трибуналы давали двадцатипятилетний срок.

До войны Леша где-то учился, с детства знал довольно прилично немецкий язык, был начитан, внешне привлекателен, вежлив и сдержан. К моменту появления на лесозаводе он уже отсидел около восьми лет и был расконвоирован. Ходили слухи, что он был связан с лагерным оперуполномоченным. Впрочем, такие слухи часто распространялись в зоне без всяких на то оснований.

Надька сразу положила на Лешу глаз. Принарядившись, она зачастила в заводскую контору, чтобы поговорить с Лешей как бы по работе. Леша отвечал на ее вопросы учтиво и сдержанно, но на ее женские уловки не реагировал. Это еще больше подогрело интерес Надьки к молодому человеку, на этот раз она крепко попалась. Однако ни манящие улыбки Надьки, ни попытки заговорить с Лешей без свидетелей в коридорах конторы или на улице, ни все прочие средства примитивного женского кокетства успеха ей не принесли, и тогда она решила перейти к более активным действиям. Воспользовавшись классическим примером, она написала Леше письмо, которое он доверительно мне показал. В нем было все, что в таких случаях полагается: и пылкие любовные признания и откровенные обещания. Со множеством стилистических красот соперничало множество грамматических ошибок.

Леша сдался, и свидание состоялось. Надька немедленно дала отставку предыдущему поклоннику, дабы, как она говорила, «соблюсти себя в своих чувствах». Поскольку Леша был бесконвойным, возлюбленные имели возможность встречаться за зоной в одиноком домике Надьки, где Лешу всегда ожидало угощение. Словом, у Надьки началось подобие семейной жизни, она расцвела, похорошела и стала с особой тщательностью следить за своей внешностью. После первых свиданий она заявила со счастливой улыбкой: «Я Леше все чувства отдала, ничего не пожалела!»

Но Надькино счастье продолжалось недолго. По должности Леша имел возможность разъезжать по всей многокилометровой лагерной железнодорожной ветке, бывать на женских ОЛПах и заводить знакомства. У него появились новые дамы сердца, и Надька, заходя на лесобиржу, горько жаловалась на его неверность:

— И чего ему еще надо! Какую я ему, зека, жизнь создаю, как в раю живет, кормлю его, обстирываю и обшиваю, а он не ценит!

Однажды Надька застала Лешу в поселке с какой-то бесконвойницей, и разыгралась отвратительная сцена с грубой лагерной руганью, взаимными оскорблениями и угрозами. В бешенстве Леша кричал, что Надька сама напросилась к нему в любовницы и вешалась ему на шею, что связался он с ней лишь из жалости к ее одинокой доле и что такая страхолюдина, как Надька, ему и вовсе не нужна. Разумеется, Надька в долгу не оставалась. Многолетнее общение с лагерным миром сильно обогатило ее лексику. Присутствовавшие при этом зека потешались над Надькой и отпускали в ее адрес циничные шутки. Оскорбленная, она затаила злобу.

Донесение Надьки оперуполномоченному о сомнительных политических разговорах, которые, возможно, и на самом деле вел с ней Леша, получило ход. Лешу немедленно законвоировали, чуть не каждую ночь его тягали на допросы, а однажды после допроса его отправили в следственный изолятор.

— Не миновать Лешке нового червонца,— говорили зека,— а может, он и по старому делу четвертной огребет.

От нового срока Лешу, как и многих других людей, спасли непредвиденные обстоятельства. В 1953 году после смерти Сталина и ареста Берии дело Леши было прекращено, и его возвратили в зону. А вскоре из Москвы пришло новое решение по делу Леши времен войны. С него было снято обвинение в военном преступлении, он вышел на свободу и уехал. Понемногу о нем все стали забывать. Постоянно нарушавшую правила режима Надьку начальство, наконец, решило выгнать с завода, и она нашла себе работу где-то в управлении.

Прошел еще год. Как-то летом я, уже расконвоированный, отправился по делам в поселок и неожиданно встретил Лешу. За последний год он сильно изменился, постарел и выглядел усталым и подавленным.

— Ты что здесь делаешь,— с удивлением спросил я,— ты разве не уехал?

Какая-то жалкая, растерянная улыбка появилась на лице Леши.

— Да нет,— забормотал он,— я уезжал и вот вернулся. Прописался было в родном городе, на работу поступил экономистом, как в лагере, и даже вроде как бы женился. Все равно прижиться там не сумел, чужое мне все на воле,

лагерь забыть не могу. Жена меня не понимает, тянет все время куда-то, то в гости, то развлечься, а мне всего этого не надо. Покоя хочется. Прийти после работы домой, полежать, почитать. А как я начну что-либо из прошлой жизни рассказывать, она зевать начинает и говорит: «Ну ладно пустое травить, пойдем лучше в кино или спать». Неинтересно ей все это. Может быть, она по-своему и права. Тут я Надьку и вспомнил. Она все же наша, лагерная. Хотя сама и не сидела, нашего брата понимает. Вот я и приехал, у нее живу. Очень она мне обрадовалась. Пока не работаю, но кое-что мне здесь обещали. Решил остаться.

— Но она же тебя хотела в тюрьму упечь, донесла на тебя! — вскричал я. — Ты ей, выходит, все простил?

Леша тяжело вздохнул.

— Время было такое, да и я перед ней виноват был. Что было, то было. Чего уж тут прошлое ворошить. Может, зайдешь, — вдруг предложил он, — мы ведь здесь рядом живем?

Меня одолело любопытство, и захотелось взглянуть на Надьку в этой новой ситуации. И хотя нашему брату, заключенному, заходить в дома вольных запрещалось, я соблазнился.

Домик на окраине поселка явно был недавно отремонтирован и имел сравнительно пристойный, даже веселый вид.

— Надя все сама, своими руками сделала, — не без гордости сообщил мне Леша.

Надька встретила меня как родного, только что целовать не стала, усадила за стол и начала угощать. Она тоже сильно изменилась за прошедший год, куда-то исчез налет лагерного вульгарного цинизма, и появилось выражение грустной серьезности. Мне показалось, что даже речь ее изменилась, стала не то чтобы более правильной и пристойной, но какой-то другой, не лагерной. Она принялась расспрашивать меня о моих домашних делах, спросила, когда освобождаюсь, и сокрушалась о моей судьбе, чего на заводской лесобирже ей и в голову не пришло бы делать. По-матерински заботливо она подала Леше умыться, о чем-то его спросила, накормила.

Когда Леша на минуту вышел из комнаты, она сказала, как бы оправдываясь:

— Виновата я перед Лешей, из-за меня парень в тюрьму на новый срок чуть не угодил. Очень уж я на него тогда обиделась и рассердилась. Глупая я раньше была, распутничала, не встретился мне тогда мой милый. Все теперь пойдет по-новому. Со мной он не пропадет, я о нем позабочусь.

Надька помолчала, улыбнулась и неожиданно с чувством произнесла явно услышанные ею от Леши и странно звучащие в ее устах, несколько высокопарные слова:

— Мы ведь две души одинокие в этом скорбном мире!

ЗЕМЕЛЯ

— Привет с Покровки!

Я вздрогнул и оглянулся. Нас только что пригнали с работы, и я крутился около столовой, ожидая, когда нашу бригаду впустят на ужин. Передо мной стоял молодой паренек, почти подросток, на вид лет шестнадцати, невысокого роста, и улыбался. Его пухлое, со здоровым румянцем на щеках, с растянутым в широкой улыбке ротом лицо казалось еще совсем детским.

— Ты что, меня знаешь? — недоверчиво, с подозрением спросил я.

— Так мы же в одном доме у Покровских ворот живем. Дом семнадцать. Ты в двенадцатой квартире с большим коридором, вход с улицы, с Покровки, а я во дворе на галерее, на втором этаже. Славка я, Шустриков, что, не узнаешь? Я тебя хорошо помню, ты военным был, офицером. Вот ведь как получилось!

Парень весь сиял, радуясь неожиданной встрече в лагере со знакомым по воле человеком.

Я наконец сообразил, что это за парень. Мать Славы работала в домоуправлении не то счетоводом, не то бухгалтером, я неоднократно видел ее во дворе нашего дома, а когда, еще до войны, пару раз забегал в контору по делам, видел и мальчонку лет пяти, который крутился около нее и с любопытством меня разглядывал. Помню еще, что паренька во дворе мальчишки почему-то звали «зикой». Видел не раз и отца Славика, который позднее погиб на войне. У Славика был еще и брат постарше. Это была тихая и мирная, добропорядочная семья.

— Давно ты в лагере?

— Да вот шесть месяцев прошло. Осенью меня замели. Я сперва в колонию попал. Пошумели мы там. Один вольнонаемный надзиратель зверем был. Придирался, а иногда и бил на вахте. Мы его как-то подловили, одеялом накрыли и поддали ему хорошенько. Мусора набежали, а нас в ШИЗО. Следователь искал зачинщика, говорил: «Ты парень образованный, москвич, выходит, заводилой был». Судили. Мне срок добавили и сюда прислали.

Парень все это рассказывал весело, не без гордости, видно, он рассматривал все случившееся как забавное приключение.

— А где ты работаешь, в какой бригаде?

— Да я только второй день как здесь. Нарядчик сказал, что на моем деле написано — выводить только с режимной бригадой. Посмотрю, что за режим.

— А за что тебя посадили?

— Помнишь, во дворе подвал был. Мы с приятелем замок сбили и залезли. Интересно было, что там хранится. Рухлядь нашли всякую. Ничего мы не взяли, да и не собиравшись. Кто-то во дворе стукнул, и нам дали по два года.

Тут я вспомнил свое детство. Во дворе нашего старого дома, построенного еще в прошлом столетии по проекту архитектора Стасова в качестве гостиницы и объявленного после войны памятником архитектуры, был большой подвал. Я частенько заглядывал в него через замочную скважину и рассматривал глиняные черепки и куски битого стекла, отражавшие просачивавшийся в подвал свет и казавшиеся мне сокровищами, подобнокладам из бесчисленных, проглоченных мною приключенческих романов. Меня и самого не раз подмывало как-нибудь проникнуть в подвал, но, видимо, не хватило для этого смелости.

Мне очень хотелось расспросить парня о своих родителях, мы сели на ступеньки барака и закурили.

— Как же, как же, батю твоего видел много раз,— рассказывал Славик.— Ходит хмурый, ростом вроде поменьше стал. Понятно, единственного сына забрали. Во дворе много разговоров было, когда тебя посадили. Дворничиха рассказывала, что была понятой и видела, как вынесли целый мешок с бумагами. По ее словам, ты крупным шпионом был. Ну а мать знала тебя еще ребенком и говорила, что все это брехня, что небось сказал ты чего лишнего. Она в этих делах понимает. Дядю моего, ее брата, комбрига, в

тридцать седьмом арестовали, и с концами. Идейный был, коммунист.

На следующий день я парня на разводе не встретил, видно, его поздно вечером забрали на этап.

Года через два как-то зимой я пробегал по двору зоны, торопясь поскорее укрыться в бараке от холодного ветра, когда меня кто-то окликнул:

— Привет, земля!

Это был Славик. Он сильно изменился, вырос почти на целую голову и похудел. От былых пухлых щек не осталось и следа, черты лица обострились, и, хотя парню было всего около девятнадцати лет, на лбу его появились морщины. Он заговорил скороговоркой, все время озираясь по сторонам, словно чего-то боялся. Свою довольно бессвязную речь он густо пересыпал матерными словами и, казалось, старался создать впечатление, что ему «море по колено». На мой, уже привыкший к лагерному сквернословию слух в его потугах изобразить из себя отпетого блатного улавливалась какая-то фальшь. Новая роль ему явно не давалась. Смешно и грустно было наблюдать его усилия покрасоваться передо мной в роли прожженного лагерного волка. Но, может быть, мне так показалось, потому что я все еще видел в нем домашнего мальчика Славика, державшегося за юбку матери и выглядывавшего из-за ее спины в конторе нашего московского дома.

— Сняли с меня режим,— говорил Славик,— отправят теперь в лесорубную бригаду на четырнадцатый. Там друзья есть, помогут. Упираться рогами не стану, так, у костра посижу. Пусть посмеет кто что сказать! — слегка шепелявя, с интонацией матерого бандита скороговоркой бормотал он.

Я случайно знал от друзей обстановку на четырнадцатом лесоповальном ОЛПе. Когда я был в карантине, в лагерь привозили целые этапы рецидивистов и осужденных судом за разные лагерные преступления и отправляли дальше в глубинку. Для этого предназначался именно четырнадцатый ОЛП. Там недавно была большая резня, вновь прибывший этап блатных выяснял отношения со ссученными, и несколько жертв этого разбирательства привезли на наш лагпункт в госпиталь. Поэтому я слушал речи Славика скептически, но возражать не стал.

— Ну, а от матери что-нибудь получал? — спросил я, чтобы переменить тему.

Тень пробежала по лицу Славика, он как-то сразу скис, видно, слова мои задели за живое.

— Приезжала на свидание, но мне в свидании отказали. Режимник. Мать дошла до самого Карабицына. Упросила. Дали всего два часа, все время плакала.

Говоря о свидании с матерью, Славик преобразился, он перестал шепелявить и сквернословить. И, казалось, обрел облик обычного мальчика из порядочной семьи.

Вечером с этапом Славика отправили на четырнадцатый ОЛП.

В нашей зоне в лагерном госпитале работал статистиком мой друг, милый старик Семен Петрович Гальченко, сидевший за «украинский национализм». В 1918 году молодым человеком он посещал в Киеве кружок по изучению украинской культуры, знатоком и любителем которой был всю жизнь. Уж я и не знаю, как в МГБ в 1950 году докопались до этого «ужасного преступника». Мерзавец-следователь непрерывно оскорблял его, называя «бандеровской сукой», хотя последние сорок лет Семен Петрович прожил в Москве и всю войну проработал экономистом в военном ведомстве. Как-то, встретив меня в зоне, Семен Петрович сказал:

— Твоего земелю Славика привезли с четырнадцатого. Саморуб. Отхватил себе топором кисть руки. Истекал кровью. Едва спасли. Начальник санчасти сказал, что после операции его отправят в поселок в тюрьму. Будут судить за умышленное нанесение себе увечья.

Я побежал в госпиталь. Медбрат долго не пускал меня к Славке, ссылаясь на строгий запрет, но полпачки махорки сделали свое дело и мне разрешили ненадолго войти в палату.

Славка лежал на койке неподвижно, уставившись в потолок, и как будто не был ни удивлен, ни обрадован моим появлением. Рука его была плотно перевязана, а на поверхности бинта были видны следы свежей, просачивавшейся крови.

— Земеля,— прошептал Славик.

— Когда тебя привезли? — спросил я.

— Третьего дня, кажется, не помню.

— Болит?

— Болело, сейчас нет.

— Но зачем же ты так? — бестактно и ни к месту спросил я.

Славка горько усмехнулся и ничего не ответил. Тут пришел медбрат и сказал, что врач-вольняшка делает обход и, если я не уберусь, у него будут неприятности. Я поднялся, но Славка сделал мне знак здоровой рукой. Я наклонился к нему, и он тихо, с усилием спросил:

— А что, говорят, после того, как меня засудят, опять на четырнадцатый отправят?

При этом на лице его выразился такой неподдельный ужас, что мне стало не по себе.

Через день я снова посетил Славку. На этот раз дежурил другой санитар, и мне удалось пробраться в палату без особого труда. Славка был в состоянии говорить и поведал мне свою грустную историю:

— Привезли меня на четырнадцатый и сунули в бригаду рецидива. Бригадир — ссучившийся блатной, а вокруг его дружки-прихлебатели. Не работают, а что мы напьем — им записывают. Кто норму не дает — бьют. Посылку от матери получил, едва до барака дошел — отняли. Я дурной был, думал, помогут мне. Пожаловался. Вызвал меня опер, вежливенько так поговорил со мной, расспросил о доме, о матери. А потом говорит: «Ты, я вижу, парень умный, правильно все понимаешь. Переведу тебя на хорошую работу, инструменты выдавать, пилы затачивать. Но ты уж и нам послужи. Будешь мне рассказывать, что в зоне делается, какие разговоры слышал, кто там в побег собирается». Я отказался, сказал, не могу. А он: «Ну не хочешь — пеняй на себя!» И отправил меня в ту же бригаду. А на следующую ночь опять вызвал, а через неделю еще раз. Тут в бригаде заговорили, что не зря меня к оперу по ночам водят, что стукач я. Мне еще горше стало. Придираются, бьют. Житья вовсе не стало. Понял я, что забьют меня до смерти. А тут еще такой случай был. Штабелевали мы березовый лес — вагонов под погрузку не дали. Штабель высокий был. Я внизу стоял. Один парень слегка ногой кругляк толкнул, я еще увернуться успел, а то перебил бы позвоночник. Вот я и не выдержал. Положил руку на пенек да как жажнул топором. Дальше ничего не помню. Пришел в себя, когда сюда привезли. Что теперь будет, не знаю. Наверное, новый срок дадут. Но лес пилить уже не пошлют. Мне здесь в госпитале ребята говорили, что таких отправляют на инвалидный.

На другой день Славку куда-то увезли.

В конце шестидесятых годов я уже не жил у Покровских ворот, но частенько забегал на старую квартиру навестить отца. И однажды, проходя по двору дома, нос к носу столкнулся с пожилым на вид, высоким и худым человеком. Левая кисть, одетая в черную перчатку, высывалась из-под рукава его куртки. Я не то чтобы узнал, скорее угадал.

— Слава, земля, ты ли это?

Тупо глядя на меня, словно не узнав, Слава пробормотал слова приветствия.

— Как ты живешь? — глядя на его руку, смущенно спросил я.

— Да вот так и живу, — нехотя ответил Слава, — комиссовали недавно, пенсию по инвалидности назначили. Да пенсия-то грошовая. У меня ведь стажа никакого нет, весь стаж — лагерь, не считается.

— А как мать?

— Прошлым летом померла.

— Ты что ж, в той же квартире живешь? — не к месту спросил я.

— Да, там. Братеня, помнишь его, сука, выписал, когда меня забрали. Так что на птичьих правах живу. Правда, сейчас не гонит. А в милиции мать хорошо помнят, не придираются. Видно, знают все, что я не жилец на свете. Уделал меня лагерь. Курить есть? — неожиданно прервал он свою речь.

— Не курю я, бросил после лагеря, — смущенно сказал я.

— Ну правильно, жить будешь.

Неожиданно Славик повернулся и, не простившись и не оглядываясь, зашагал прочь, словно хотел поскорее убежать от своего прошлого.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Одно из самых драматических воспоминаний о моем лагерном бытии связано с забастовкой, вспыхнувшей в нашем Каргопольском лагере суровой зимой 1953 — 1954 годов. Повествуя о восстаниях заключенных в Джезказгане и других лагерях, А. И. Солженицын упомянул и о событиях в Каргопольлаге, назвав их «заварушкой поменьше». Это событие действительно нельзя назвать восстанием в точном смысле слова, но, несомненно, оно было одним из случаев массового неповиновения властям, охватившего в этот пе-

риод многие острова лагерного Архипелага.

Произошло это после, а в какой-то мере и вследствие бериевской амнистии уголовникам, существенно изменившей соотношение сил в нашей зоне. Часть уголовников освободилась, и администрация вынуждена была заменить их на производстве политическими, до того отбывавшими свой двадцатипятилетний срок на отдаленных лесоповальных ОЛПах, а сейчас перевезенных к нам. Ныне политики — двадцатипятилетники, осужденные в основном «за измену родине», и десятилетники, осужденные за антисоветскую агитацию,— оказались на нашем ОЛПе в большинстве.

На первых порах прибытие этапа из глубинки мало что изменило в жизни лагеря. Как и прежде, ни собственность зека, ни их личность не были ограждены от непрерывных домогательств уголовников, случаи насилия и грабежей были обычным явлением, а на кухне повара в первую очередь обслуживали блатную элиту.

Как и всякое значительное событие, наша забастовка началась очень буднично. Трудно установить, кому первому пришла в голову мысль, что было бы неплохо избавиться от произвола уголовников, вероятно, идея эта витала в воздухе. Как и в других лагерях в этот период, инициатива здесь принадлежала заключенным из Прибалтики, в первую очередь эстонцам, которые сразу же взяли дело в свои руки. Хотя представители различных национальных групп были в лагере предусмотрительно перемешаны, разбросаны по бригадам и по баракам, тем не менее земляческие связи существовали и были довольно прочными, особенно среди латышей, эстонцев и литовцев, в значительной мере отделенных от остальной массы зека языковым барьером. В их среде еще жила память о независимом национальном существовании до начала второй мировой войны и о традициях политической борьбы в условиях буржуазной республики.

Эстонцы, литовцы и латыши договорились между собой и наметили план действий. Однажды, когда я, десятник на лесобирже, зашел по делу в контору завода, бухгалтер, литовец Строганис, в прошлом офицер генерального штаба литовской армии, как бы между делом спросил меня:

— Фильштинский, мы тут собираемся после конца работы задержаться, откажемся идти в зону и потребуем, чтобы администрация убрала уголовников. Как вы к этому

относиться?

Я сразу сообразил, что к чему, и согласился.

На нашем лагунке собралось человек двадцать из московской и ленинградской интеллигенции. Двое моих друзей-москвичей работали на электростанции. Оба — Ф., студент МГУ, и К., военный летчик, подполковник, служивший в Главном штабе авиации — сидели по статье пятьдесят восемь, десять. Я отправился к ним, чтобы предупредить о готовящейся акции, которую они, разумеется, одобрили. И когда в шесть часов вечера раздался гудок съема, все без исключения политические и некоторые бытовики не вышли на вахту, а остались на рабочих местах, работавшие же на заводе уголовники ринулись к вахте, где их подхватил и увел в зону конвой. Я помню, как один из них, забыв свой обычный гонор, истерически кричал: «Я не хочу бунтовать против советской власти!» — и просил поскорее увести его с завода. Кто-то из зека-активистов позвонил на вахту и сообщил администрации о наших требованиях. Но лагерное начальство немедленно ответило на них своими мерами. Огромную территорию завода окружила усиленная охрана со множеством овчарок, на вышках появились нацеленные в зону пулеметы, словом, готовились к решению возникшей проблемы с позиции силы.

Однако обе стороны старались вести себя сдержанно. Заключение не хотели давать администрации лагеря повода для активных действий, а начальство, радея о плане и о премиях за его выполнение, побаивалось прекращения работы. Поэтому в семь часов вечера, как положено, конвой привел на завод еще полторы сотни рабочих ночной смены лесосоцеха, которые стали к рабочим местам, а дневная смена разбрелась по заводской территории в поисках места для ночлега. Таким образом, в нашем полку прибыло. В маленькой курилке лесобиржи дневальный жарко натопил небольшую печурку, и зека улеглись на полу, плотно прижавшись друг к другу, так что между телами почти не осталось прохода.

Я вышел на мороз и, добравшись до заводской конторы, где работали мои знакомые, составил из конторских стульев нечто вроде ложа, накрыл его старыми папками, положил под голову бушлат и попытался заснуть. Но вскоре мою чуткую дремоту нарушил чей-то голос:

— Фильштинский, ты не спишь?

— Нет.

— Тебе не страшно?

Я открыл глаза и поднял голову. Рядом стоял инженер С., работавший на заводе конструктором. Как и я, он был осужден по пятьдесят восьмой статье. Мы были едва знакомы. Видно, ему хотелось с кем-то разделить свою тревогу. Я попытался, как мог, успокоить его и убедить, что все кончится благополучно, хотя в душе и сам не был в этом уверен. Мне было хорошо известно о том, как в других лагерях расправлялись с подобного рода выступлениями зека.

Между тем события шли своим чередом. На следующее утро ночная смена отказалась возвращаться в жилую зону и осталась на заводе, а в семь часов, как положено, рабочие дневной смены, невыспавшиеся и голодные, приступили к работе. Заключение по-прежнему старались не давать начальству повода для каких-либо крайних действий. Часов в двенадцать дня был объявлен перерыв, и на завод пожаловал сам начальник Каргопольлага полковник Карабицын, прибывший с огромной свитой. В прошлом солдат конвойной охраны и надзиратель, он за многие годы честной службы достиг высокой должности и теперь был не только полномочным хозяином над душами и телами многих тысяч заключенных, но и генерал-губернатором над всеми вольными жителями района. Сцена переговоров выглядела внушительно: по одну сторону запретки толпой стояли зека-бунтовщики, по другую, взгромоздившись на наскоро сооруженный помост, возвышался Карабицын, требовавший, чтобы мы немедленно прекратили нарушать режим и подчинились администрации. В ответ ему было предъявлено наше условие: уголовный элемент должен быть удален из жилой зоны.

Надо сказать, что спектакль, хоть и без всякой предварительной репетиции, разыгран был великолепно. Никто из заключенных не солировал, говорили все вместе, но не одновременно, а ловко сменяя друг друга без интервалов. Особенно интересно было слушать заключенных из Прибалтики, выражавших наши общие претензии на ломаном русском языке. Карабицын и его спутники так и рыскали по толпе глазами, пытаясь обнаружить зачинщиков, но выявить главарей было невозможно. Между тем Карабицын угрожал. Никакого снисхождения бунтовщикам не будет, мы должны подчиниться, а потом начальство само разбе-

рется с уголовниками. Однако заключенные твердо стояли на своем: «Блатные нас грабят, мы с ними в одной зоне жить не согласны». Тут же как бы вскользь было сказано, что мы будем работать еще только одну смену, а потом, если нам не привезут горячей пищи, прекратим.

Лагерная администрация воспринимала требования заключенных как политические. «Сегодня они хотят, чтобы из зоны удалили блатных, а завтра, чего доброго, потребуют улучшения условий труда и жизни», — такова, вероятно, была их логика. Впрочем, и сами зека смотрели на происходившее как на известную пробу сил и подготовку к неизбежным конфликтам в будущем.

Вечером положение начальства осложнилось. Все бригады, работавшие в лесу, в ремонтно-механических мастерских и в других местах за пределами лесопильного завода, отказались возвращаться после окончания рабочего дня в жилую зону и, несмотря на энергичные угрозы конвоя, двинулись к нам на завод. Конвой укладывал зека на снег и посылал над их головами длинные очереди из автоматов, но стрелять в толпу не решался и в конце концов вынужден был отвести их в заводскую зону. К ночи на территорию завода перебрались практически все работающие зека, а в жилой зоне кроме уголовников осталась лишь лагерная обслуга.

Опасаясь, что мы прекратим работу, начальство распорядилось прислать на завод несколько бачков с жидкой кашей и хлеб. Ночная смена приступила к работе, а дневная устроилась на ночлег, кто где смог.

Между тем мятежники готовились к борьбе. В механических мастерских завода, распиливая металлические трубы и затачивая их концы, делали нечто вроде пик, сабель и кинжалов, а в столярной мастерской для всего этого оружия изготавливали рукоятки. Нам было известно, что в других лагерях при аналогичных обстоятельствах администрация жестоко расправлялась с заключенными. Однако чувство безнадежности, которое мы испытывали после бериевской амнистии, почти не затронувшей пятьдесят восьмую статью, побуждало всех нас попытаться напомнить о себе вершителям наших судеб. Хотя будущее, разумеется, не рисовалось нам в радужных красках, настроение было бодрое.

На исходе третьих суток, зная, сколь болезненно лагерное начальство относится к остановке производства, забастовщики решили усилить на него нажим и предупредили,

что, если в ближайшие двадцать четыре часа требования зека не будут удовлетворены, работа на заводе прекратится. Это мотивировалось тем, что трудиться без нормального сна, при скудном и случайном питании невозможно.

Администрация оказалась в сложной ситуации. Положение осложнялось еще и тем, что бунтовщики находились не в жилой зоне, а на территории завода, на которой был расположен ряд промышленных объектов и цехов: лесопильный цех, электростанция, питающая электроэнергией весь поселок, ремонтные мастерские, шпалорезка, гаражи с машинами и лесовозами, мебельное предприятие, большая лесосбиржа, где были уложены в штабелях многие тысячи кубометров разнообразных пиломатериалов, проходивших воздушную сушку, и многое другое, что в случае вооруженного вторжения охраны могло сильно пострадать. Вместе с тем администрация понимала, что усмирение бунтовщиков, немислимое без кровавой бойни, могло иметь неприятные для нее последствия. Москва в таких случаях часто наказывала лагерное начальство, разумеется, не за человеческие жертвы, а за то, что «были допущены незаконные действия заключенных, повлекшие за собой ущерб для производства». Могли последовать понижения в должностях, увольнения на пенсию и другие неприятности.

Существенную роль играло также и то, что события разыгрывались уже после смерти Сталина и ареста Берии и его ближайших сподвижников. Было не вполне ясно, как посмотрит на жесткие меры против бунтовщиков Москва. Но, с другой стороны, потакать зека и исполнять их требования начальство не хотело, это противоречило всей традиции Архипелага, незыблемым принципам, на которых многие десятилетия держалась лагерная система. Видимо, ни управление лагерями в Архангельске, ни Москва четких указаний не давали.

Тогда Карабицын, вероятно, первый раз в жизни решил стать на путь дипломатии. Одному Богу известно, сколько горьких минут пришлось ему пережить. Нашему «ЦК», как иногда в шутку мы называли руководителей забастовку, намекнули через посредников, что при некоторых условиях конфликт может быть разрешен. Между бунтовщиками и лагерным начальством состоялось как бы молчаливое соглашение: нам было разрешено возвратиться в жилую зону без обычного досмотра на вахте и самим расправиться с уголов-

никами. Начальство умывало руки.

И вот поздно ночью в сорокапятиградусный мороз огромная, более чем тысячная толпа усталых от бессонных ночей, голодных и озлобленных людей, вооруженных самодельными пиками и кинжалами, которые для проформы прятали под бушлатами, двинулась в зону, окруженная со всех сторон автоматчиками с собаками. Для усиления конвоя из глубинки прибыла специальная рота.

Почти все зека имели за плечами опыт войны. Тут были бывшие военнослужащие разных рангов, что-то кому-то сказавшие и осужденные за антисоветскую агитацию, солдаты и офицеры, попавшие в окружение, вышедшие из него или оказавшиеся в плену в немецких лагерях и осужденные за измену родине, бывшие советские партизаны, власовцы, воевавшие сперва в советской, а потом в немецкой армии, украинские, белорусские, польские, молдавские, эстонские, латышские, литовские и другие националисты или «зеленые партизаны», жители оккупированных немцами территорий, сотрудничавшие или вовсе не сотрудничавшие с оккупантами, реально служившие у немцев полицией, люди, прошедшие немецкие лагеря смерти или побывавшие в режимных лагерях нашего дальнего севера. Предыстории у зека были самые разные. Я помню одного бывшего офицера эстонской армии, который во время финской войны 1940 года по льду перешел из Эстонии в Финляндию, чтобы воевать добровольцем в финской армии, а после подписания мира был выдан Советскому Союзу финскими властями и получил у нас большой срок за измену родине, не ясно только, какой. Но в тот момент всю эту пеструю массу объединяло стремление покончить с произволом уголовников и создать на ОЛПе приемлемые условия жизни.

На территории нашей жилой зоны находился центральный лазарет, куда со всего Каргопольлага привозили больных и получивших травму на лесоповале заключенных. Это был длинный узкий барак, в котором в те дни находилось более полусотни больных. Здесь-то и укрепились уголовники, понимавшие, что они не в состоянии вести с политиками полевою войну. Они надеялись, что администрация не пойдет на уступки политическим, и стремились выиграть время. Разумеется, они были вооружены не хуже нас.

Войдя в зону, зека быстро организовались. Офицерского состава среди нас было более чем достаточно, и все пони-

мали, как надо действовать. Создали штурмовые группы, которые плотным кольцом окружили лазарет. Наши электрики притащили большие лампы и ярко осветили все пространство перед лазаретом. Буквально через десять — пятнадцать минут все приготовления к штурму были закончены и блатным был предъявлен ультиматум: они должны добровольно уйти на вахту и покинуть зону. В противном случае их ожидала расплата. Предстоял нелегкий бой. Узкие двери, окна и коридоры лазарета облегчали оборону. Задача осложнялась еще и тем, что в палатах лежали больные и увечные, которых в темноте невозможно будет отличить от укрывшихся в бараке и уберечь.

Архангельская зима страшна не только морозами, но и ветрами, обычно дующими с океана. Однако эта ночь, хотя и безветренная, была особенно холодна. Термометр у входа в лазарет показывал 45 градусов. Небо было чистое и все усыпано звездами. Усталые, плохо одетые, голодные и промерзшие зека неподвижно стояли вокруг лазарета, ожидая команды.

Неписанный кодекс чести блатных требует от них проявления доблести и пренебрежительного отношения к смерти. Составляя в лагере среди мужиков меньшинство, они, дабы держать заключенных в повиновении и сохранять свои привилегии, должны всегда производить впечатление людей сильных, бесстрашных и беспощадных, готовых идти до конца. Но сейчас, увидав через окно барака мрачную и грозную массу политиков, они не выстояли и заявили, что готовы покинуть зону. Еще не вполне веря в свою победу, мы выстроились в две шеренги, образовав коридор, по которому уголовники двинулись на вахту под улюлюканье и свист тех самых мужиков, которых они еще вчера так лихо третируют и презирали. У вахты их подхватил конвой и повел на какой-то лесоповальный ОЛП. Ходили слухи, что тамошние блатные учинили над блатными из нашей зоны суд и расправу и даже кое-кого убили за проявленное малодушие, компрометирующее всю воровскую корпорацию, и за сдачу без боя комендантского ОЛПа с лазаретом.

На следующий день, желая подчеркнуть лояльность к власти, выполнившей свои обещания, дневная смена, несмотря на бессонную ночь, в положенное время собралась у вахты и вышла на работу. А надзор, отправив все рабочие бригады за зону, начал повальный обыск, который длился

с перерывами несколько дней подряд. Искали всюду и везде, только что бараки не ломали, пока полностью не очистили зону от самодельного оружия и от всех колющих и режущих металлических предметов.

Наконец в лагере воцарилось спокойствие. Прекратились террор уголовников и воровство. «Можно сто рублей положить на нары, и никто не возьмет», — удовлетворенно говорили уставшие от произвола работяги. Всей внутрилагерной жизнью на ОЛПе стало управлять родившееся в ходе забастовки «правительство», которое теперь вышло из подполья. Была создана специальная полиция, наблюдавшая за порядком и выходявшая на вахту в момент прибытия новых этапов. Всех, у кого на руках обнаруживали блатные наколки, выгоняли из зоны. Изгоняли и выявленных стукачей. Одного ленинградского интеллигента, заподозренного в связях с надзором, вызвали на ковер и подвергли строгому допросу. Впрочем, он, кажется, доказал свою невиновность.

Я помню, как однажды поздно вечером в барак, где я жил, ввалилась компания, человек пять, лица которых были до неузнаваемости разрисованы углем. Они стащили с нар одного зека и стали его избивать. Я вмешался, пытаюсь его защитить, и тоже получил по физиономии. Утром я обратился к одному из наших новых главарей и выразил свое возмущение: «Что ж, опять те же порядки, как при блатных!» Мне объяснили, в чем заключалась вина пострадавшего. Это был двадцатипятилетний, осужденный за дезертирство из армии на территории Польши и работавший на продовольственной базе в поселке. Дабы удержаться на блатной работенке (ему как двадцатипятилетнику это было не положено), он докладывал вольному заведующему базы о всех случаях, когда зека брали оттуда продукты. Ведь, как известно, всякая мораль обусловлена! Казалось, в зоне установился более или менее приемлемый для жизни режим. Но вскоре начались новые серьезные осложнения.

Как я уже говорил, контингент людей, осужденных по пятьдесят восьмой статье, был достаточно пестрым. Среди нас были и такие, которые действительно совершали в военное время на оккупированной немцами территории серьезные преступления: убивали, грабили, выдавали немцам партизан, служили полициями. Они не могли рассчитывать на благоприятный для них пересмотр дел и потому стремились обострить ситуацию. Одним из величайших преступ-

лений режима было заключение в тюрьму наравне и без разбора реально виновных и полностью безвинных. К тому же среди руководителей отдельных групп, особенно национальных курий, часто попадались люди амбициозные, претендовавшие на большую власть внутри зоны. Начались конфликты, иногда выливавшиеся в столкновения. Дабы оградить главу лагерной республики от возможных покушений на его жизнь, была создана специальная охрана из пяти человек, дежуривших возле лидера день и ночь. Для этого их сумели освободить от работы. Словом, развернулась некая пародия на борьбу за власть в государстве, в котором бездействует закон, отсутствуют правовые нормы и выборность. С каждым днем кризис назревал все явственнее и в конце концов достиг своей трагической кульминации.

Главой внутреннего правительства был эстонец, а наибольшие претензии, как бы мы ныне сказали, экстремистского характера предъявляли украинские националисты, требовавшие радикальных действий. Наши руководители из Прибалтики реально смотрели на вещи и понимали, что лагерные выступления не изменят порядка в стране, но, наоборот, могут дать начальству основание для ликвидации отвоєванных нами прав. К тому же ходили слухи, что администрация хочет уничтожить внутрилагерное самоуправление, ищет лишь повода и для этого намерена этапировать часть политических в другие лагеря, заменив их уголовниками, которые через весьма короткий промежуток времени после амнистии в большом числе стали возвращаться в места заключения.

И вот однажды во время какого-то спора пьяный бандит кинулся с ножом на лагерного лидера. Попытавшийся его заслонить литовец охранник был тяжело ранен ножом и на следующий день умер. Присутствовавшие при этом инциденте зека бросились избивать убийцу, которого едва удалось спасти, вызывая к благоразумию и объясняя, что это второе убийство может послужить поводом для разгрома нашего самоуправления.

Заупокойный обряд по убитому охраннику продолжался всю ночь, вел его литовский католический священник. Зека были потрясены, однако и после этого, несмотря на всеобщее осуждение убийцы, внутрилагерная борьба за власть не прекращалась. Рано или поздно она должна была ослабить самооборону политических. Так и произошло. В лагерь стали

под разными предлогами проникать блатные. Однажды днем, когда основная масса заключенных находилась на работе, группа уголовников под видом больных прибыла на ОЛП в лазарет. В схватке с подвернувшимися в это время обитателями ОЛПа уголовники проломили головы двум «полицейским» и на несколько часов захватили лазаретный барак.

Трудно сказать, чем бы окончилась война с уголовниками в дальнейшем, если бы не начавшееся массовое освобождение политических, изменившее всю ситуацию. В феврале 1955 года я и сам освободился. Мне рассказывали потом, что борьба в каких-то формах продолжалась и завершилась лишь после освобождения большинства политических и перевода оставшихся в специальные лагеря.

В пестрой лагерной массе с разнонаправленными, порой взаимоисключающими интересами и целями конфликт — дело естественное. Но если в нормально функционирующем общественном организме взаимоотношения между различными группами регулируются конституцией и законами, то в условиях лагеря разумеется, этого не было, что и привело к трагическим последствиям и распаду сложившегося на короткое время пестрого социума.

С тех пор прошло много лет, но я часто мысленно возвращаюсь к зиме 1953 — 1954 годов. Я ощущаю ночную стужу, вижу молчаливую мрачную толпу людей, окруживших лагерный лазарет, вспоминаю и ссорящиеся между собой национальные группы и борющихся за власть лидеров... События прошлого, казалось бы, в общем потоке истории незначительные, многому меня научили и неоднократно помогали и помогают в понимании и оценке различных явлений общественной жизни, на которые я невольно проецирую свой лагерный опыт. Как и все экстремальные ситуации, он оставляет после себя, может быть, жесткую, но четкую систему ценностей.

ЭТО ГОРЬКОЕ СЛОВО «СВОБОДА»

Я откровенно радовался смерти Сталина. Был убежден, что теперь в стране произойдут большие перемены. Однако мои надежды разделяли далеко не все зека. Многие лагерные мудрецы были настроены мрачно, полагали, что к власти придет Маленков, которого считали одним из главных палачей, и все пойдет по-старому, а то и хуже. Вспоминали

его роль в организации ленинградских процессов пятидесятих годов и многое другое. Оптимистично смотрел на будущее лишь один из моих сокамерников — человек простой, но со здравым смыслом, бывший директор какого-то ленинградского магазина. Он бежал из немецкого плена, где пробыл всего один месяц, вышел к Советской Армии, воевал, а после войны был осужден за сотрудничество с врагом на десять лет. В первый же день после смерти Сталина он мне сказал:

— Теперь они его заколотят в гроб, отпоют и начнут крутить колесо в другую сторону. Ведь не может же страна вечно существовать, держа за колючей проволокой пятнадцать миллионов человек!

Хотя в принципе мой собеседник оказался прав, он ошибся в сроках. В России все делается не быстро.

Поначалу все говорило, что для оптимизма нет больших оснований. Хотя реабилитировали «врачей-убийц» и прошла широкая амнистия уголовникам, в результате которой на волю вышли целые банды воров и бандитов, мы, политики, как сидели, так и продолжали сидеть. Из нашего лагеря вышло на волю лишь несколько человек, осужденных по пятьдесят восьмой статье на срок до пяти лет.

Позднее, с приходом к власти Хрущева, было принято решение начать разгрузку тюрем и лагерей, но так, чтобы не нанести ущерба производству. Таким образом, и при Хрущеве действовало старое правило — пусть лучше невинные люди будут в заключении, лишь бы крутилась производственная машина. Таковы были представления у руководителей первого в истории социалистического государства о ценности человеческой жизни!

Я не припоминаю случая за все годы моего заключения, чтобы на волю по прекращению дела вышел хоть один из осужденных по 58-й статье. Все сидели от звонка до звонка, а после окончания срока либо отправлялись в вечную ссылку, либо получали право жить лишь в отдаленных от больших городов районах. Кое-кого из политических выпустили в конце 1953 года, но реально мы ощутили перемены лишь в 1954 году. Я помню, как лагерь облетела весть, что некий Софронов, сидевший по статье пятьдесят восемь, один Б (был в плену), выходит на свободу с полной реабилитацией. Добрая половина обитателей лагеря набилась в тесный барак, чтобы посмотреть на счастливчика. Софронов сидел на

нарах и тупо смотрел по сторонам, силясь понять и осмыслить происходящее. Дня через два — новое сообщение: два двадцатипятилетника, литовца, освобождаются «по чистой», то есть по прекращении дела. После этого каждые несколько дней одному-двум лагерникам сообщалось о благоприятном пересмотре их дел. Освобождение безвинно осужденных людей растянулось почти на три года.

За все годы заключения я не написал ни одной жалобы. Все, что я думал и что сказал, что было признано клеветническими измышлениями и за что мне дали столь большой срок, было истинной правдой, и я не намерен был просить прощения. Впрочем, я хорошо понимал, что это было бы и бесполезно. Прощение о пересмотре моего дела отец написал по собственной инициативе.

Последний год в лагере я работал на погрузке. Однажды на завод кто-то позвонил из жилой зоны, кажется, нарядчик, и сообщил, что один заключенный из нашей бригады на следующий день идет на освобождение. Заведующий погрузкой почему-то решил, что речь идет обо мне, и начал меня поздравлять. Я отнесся к сообщению с недоверием. И действительно, как выяснилось на следующий день, речь шла о ком-то другом.

— Моисеич, не тушуйся, — сказал мне работяга из нашей бригады, как все старые лагерники, суеверный, — тебя дернули, это примета, теперь вскорости освободят.

Спустя месяц, возвращаясь в зону после тяжелой погрузки поздно вечером и проходя мимо барака управления, я вдруг отчетливо услышал свою фамилию. До сих пор для меня остается загадкой, как это могло получиться. Стояла зима, все окна в конторе были тщательно заделаны, и слышать с улицы сказанные в помещении слова было решительно невозможно. Это была какая-то сверхъестественная интуиция.

Перескакивая через ступеньки, я вбегаю в контору, поднимаюсь на второй этаж и влетаю в комнату, где сидит дежурный офицер. Он разговаривает по телефону и, увидев меня, орет:

— Чего надо, вон отсюда!

— Что с Фильштинским? — не контролируя себя, ору я в ответ еще громче.

Услышав мою фамилию, офицер некоторое время молчит, а потом уже другим голосом говорит:

— Телефонограмма из лагерного управления. Будем тебя готовить завтра на освобождение.

В эту ночь я плохо сплю и нахожусь во власти какого-то странного чувства. Это не радость, а какая-то поднимающаяся из глубины и все растущая горечь. Я пропускаю через сознание все бессмысленно прошедшие в лагере годы: тяжелую, порой непосильную работу, оскорбления, мат надзора, конвоя и солагерников, голод и холод. Теперь этот чиновник, капитан, сообщает мне, что завтра меня будут готовить на освобождение. Благодарствую!

Утром меня фотографируют во всей моей зековской амуниции, я обхожу с бегунком зону (администрация должна быть уверена, что я не унесу лагерное имущество: ботинки, бушлат или валенки). Оказывается, за все годы заключения я так и не сумел заработать на всю эту одежку! Принимая от меня лагерные тряпки, добрый каптерщик, зека, сидящий по пятьдесят восьмой статье, сует мне пару нового белья, и у меня образуется узелок килограмма на полтора — это все имущество, которое я накопил за шесть лет, перевоспитываясь трудом. Я получаю в бухгалтерии накопившиеся на моем лицевом счету за все отсиженные годы деньги. Частично это остаток тех денег, которые иногда присылал мне отец и которые мне на руки не выдавали, а частично — «от начальника». Беспокоясь о моей послелагерной судьбе, бухгалтерия лагеря ежемесячно вычитала из моей грошовой зарплаты некий процент «в фонд освобождения», и вот теперь я счастливый обладатель огромного, по моим понятиям, капитала в размере шестисот с лишним рублей «старыми деньгами».

Во второй половине дня я наконец получаю справку об освобождении и выхожу на вахту. Как выясняется, я не реабилитирован. С меня снято обвинение по пятьдесят восьмой статье, но... статью переквалифицировали на другую — пятьдесят девятую, пункт семь, по которой полагается срок до двух лет. Таким образом, я подпадаю под амнистию. Вообще-то пятьдесят девятая статья посвящена таким преступлениям, как бандитизм, а в особом, седьмом пункте речь идет о наказании за разжигание национальной вражды. Веселенькое дело! Я никогда, ни в лагере, ни на воле не встречал человека, осужденного по этой статье. Уж и не знаю, за что мне выпала такая особая честь. Но стоила мне эта статья почти двухлетней борьбы уже на

воле за полную реабилитацию, которой я добился лишь в 1957 году.

Предстоит получить «имущество», изъятое у меня в Москве в момент ареста, и я отправляюсь в спецчасть лагеря. Изучив мой документ об освобождении, молодая женщина выдает мне два диплома, справку о защите в МГУ диссертации, медали и еще какую-то мелочь.

— А пояс от брюк и шнурки от ботинок, изъятые у меня в момент ареста, где? — с трудом владея собой, исступленно и злобно кричу я.

Женщина смотрит на меня со страхом, видно, соображая, не сумасшедший ли я, и, запинаясь, говорит:

— Это все, что нам шесть лет тому назад прислали из Лефортовской тюрьмы.

Я забираю свое имущество и выхожу из спецчасти. Мне стыдно за мой нелепый срыв. Ведь эта молодая девчонка в каптерке в моей судьбе и вовсе не виновата.

До отхода московского поезда остается еще много часов, и я захожу перекусить в местную столовую. Перед окошком раздатчицы я капризничаю и качаю права: почему все холодное? Можно подумать, что до этого дня я обедал только в московском «Метрополе». Раздатчица с любопытством на меня смотрит: по характеру речи я вроде бы не из блатных и даже не из приблатненных. Ей понятно мое состояние — за годы работы она видела немало выходящих на волю зека.

— Освободился?

— Два часа тому назад.

— Я и сама психовала, когда освободилась. Это пройдет, — говорит она и накладывает мне полную миску гуляша.

Я ем не торопясь, чтобы полностью оценить вкусовые достоинства вольного блюда.

На дворе февраль, а у меня на голове рваная лагерная шапка-ушанка. Возникает желание принарядиться. Захожу в местный универмаг и за пять рублей покупаю какую-то шапку из собачьего меха, предварительно долго примеряя ее перед зеркалом. Шапка по качеству не лучше лагерной, но все же другая.

Теперь, наконец, я могу отправиться на станцию за билетами. Вообще-то по правилам мне надлежит получить паспорт в местном районном центре, но я принимаю решение ехать прямо в Москву. На станции я вижу нескольких знакомых уголовников, также освободившихся сегодня из

нашего лагеря. Они уже под хмельком, и мне не очень хочется ехать с ними в одном вагоне. Я покупаю купейный билет, надеясь таким образом избежать ненужных встреч. Отходя от кассы, я замечаю человека, который пристально на меня смотрит. Это представитель какого-то латвийского предприятия, приезжавший в лагерь за пиломатериалами. Накануне во время погрузки, он видел меня и уловил из разговора, что мне еще сидеть и сидеть. Он, видимо, думает, что я собрался в побег. Мне это кажется забавным, и я не делаю попыток рассеять его заблуждение.

На станции я встречаю знакомую женщину, бывшую лагерницу, отсидевшую срок, вышедшую замуж за бывшего лагерника и работающую в поселке. Она едет в отпуск в Москву к отцу. Мы улаиваемся, что в дороге она навестит меня в вагоне.

Но вот, наконец, должен прибыть поезд Воркута — Москва. На станцию прибегает меня проводить мой друг Иван Андреевич Бондин. Все эти годы мы проработали вместе на заводе, и он только что вместо меня провел очередную погрузку. Подходит поезд, и мы обнимаемся на прощание. «Жду тебя с последней почтой», — говорю я, повторяя слова персонажа из рассказа Джека Лондона.

Поезд трогается. Я смотрю в окно. Позади остаются леса и болота Архангельской области, конвои и собаки, барачная духота, лесопилка, бесконечные бревна и доски. Прощай, Ерцево. Шесть лет молодой загубленной жизни. Но я выстоял и еще жив, жив!

Однако приключения мои не кончились. Я захожу в купе и вижу знакомые форменные кителя и фуражки с розовыми кантами. Три офицера из дальних лагерей. Они смотрят на меня враждебно и настороженно. Мой вид не вызывает у них сомнения — освободившийся лагерник. Я ругаю себя за мысль ехать в купейном вагоне, кидаю узелок на верхнюю полку и выхожу в коридор. Из соседнего вагона приходит моя знакомая, и я шепотом сообщаю ей о неудаче со спутниками. Она уходит. Я стою у окна и курю. Проходит минут пять, и вдруг открывается дверь вагона и появляется компания моих сокамерников. Приятельница по глупости сказала им, что я еду в одном купе с лагерными охранниками и меня обижают. Ребята крепко выпили и рады всякому поводу учинить драку с ненавистными начальничками, а тут такой отличный повод.

У меня мелькает мысль: ребята устроят дебош, кого-либо отколотят или даже изувечат, и я снова попаду в лагерь, на этот раз как инициатор хулиганской выходки. Я умоляю непрошенных защитников: «Ребята, меня никто не обижает!» После долгих уговоров мои разочарованные дружки удаляются. Я с облегчением вздыхаю, вхожу в купе, залезаю на полку и ухожу в свои мысли. Впереди меня ждут заботы, заботы.

Освободившийся за год до меня мой друг М. прислал в лагерь письмо, в котором с суровой прямоотой сообщал по пунктам всю правду: мать вскоре после моего ареста умерла от непонятной болезни, скорее всего, просто от горя, жена вышла замуж и родила от нового мужа ребенка, ВАК лишил меня ученой степени, устроиться нашему брату в Москве нелегко, и он все еще обивает пороги разных учреждений в поисках работы. Письмо кончалось словами: «Скорее приезжай, будешь сам улаживать свои дела». «Ничего себе, «дела»!» — думаю я.

В Москве я схожу с поезда и беру такси, не хочется в лагерьной телогрейке щеголять в городе.

— Освободился? — спрашивает водитель.

— А что, видно? — отвечаю я вопросом на вопрос.

— Каждый день вожу с вокзала вашего брата, — смеется он.

На радостях я отваливаю ему от своих богатств двойную плату.

Мое появление в коммунальной квартире вызывает сенсацию. Соседские девочки за годы моего отсутствия выросли. Они затаскивают меня к себе в комнату и кормят. Кто-то бежит искать отца.

Начинаю привыкать к московской жизни. Все вокруг такие вежливые. В троллейбусе какая-то женщина говорит мне: «Передайте, пожалуйста, на билет», — и хотя эта формула стилистически не безупречна, я с благодарностью спешу выполнить просьбу. Я слышу на улице мат и воспринимаю его как младенческий лепет или как мирную беседу воспитанных девиц. На погрузке не так ругались! Я оказываюсь свидетелем драки. Все расходятся живы и здоровы. Почему-то вспоминаю первый день в лагере и столкновение с уголовником, обещавшим высадить мне гвоздем глаз, если я не буду дергать за него на сортиршадке доски. Смотрю на шагающих по улице людей, и мне все время кажется,

что я ношу какую-то неведомую им тайну. Когда я встречаю в компании бывших зека, мы улыбаемся друг другу со значением. Мы — что-то вроде масонского ордена и храним особые секреты, в которые другие не посвящены. Да и что они могут понимать в наших былых и нынешних заботах?

Мне нужно прописаться в Москве, и я отправляюсь в милицию. Паспортистка смотрит с подозрением на мою справку об освобождении. Ведь у меня бандитская статья! Правда, я амнистирован, но все же... Она отправляет меня за разрешением на прописку к начальнику уголовного розыска. Открывается железное окошко, кто-то берет мои документы и опускает железный намордник, почти такой же, какие были в Лефортовской тюрьме. Проходит минут десять, окошко вновь открывается, из него высовывается голова высокого милицейского чина. Он с любопытством на меня смотрит — я не его клиент, однако ему интересно взглянуть на человека, который кого-то когда-то обозвал жидовской мордой. Теперь за подобные преступления никого не наказывают, а раньше за него или за подобные ему давали эту статью. Но статья эта вроде бы ко мне не подходит.

Я начинаю хлопотать о реабилитации и об устройстве на работу. Я готов на любую: библиотекарем в районную библиотеку, корректором в типографию, учителем, ночным дежурным в больнице. Все безуспешно. Чиновная дама, директор Издательства иностранных словарей, слывущая за человека интеллигентного и либералку, в оскорбительной форме отказав мне в работе, предлагает из милости записать мой телефон «на всякий случай». Но у меня ведь, собственно, нет телефона.

— Не трудитесь,— говорю я,— ведь выражение «я запишу телефон» — обычный прием для вежливого отказа.

— Как угодно,— надменно отвечает дама-патронесса.

Начинается изнурительная война с ВАКом. Беседую с ученым секретарем этой организации.

— Вы же занимаетесь наукой,— говорит он,— неужели вы не понимаете, что за шесть лет наука ушла вперед и ваши разработки устарели? Вот и пишите новую диссертацию!

— А вы что ж, каждые шесть лет лишаете степени всех, кто когда-то защитил диссертацию, на том основании, что их разработки устарели? — парирую я.

Но находится человек, который проявляет ко мне доброе отношение,— это директор Библиотеки иностранной литературы Маргарита Ивановна Рудомино. Сколько бывших лагерников приютила она в стенах библиотеки, сколько приняла на работу изгнанных из разных научных учреждений менделистов-морганистов, генетиков, безродных космополитов и других страшных преступников, превратив таким образом библиотеку в одно из самых культурных и в научном отношении представительных учреждений города Москвы. Спасибо ей за это! Меня берут в библиотеку на временную работу, каждые два месяца приказом отчисляют и тут же новым приказом зачисляют. Так я работаю почти два года. Платят мне шестьсот рублей старыми деньгами, а в обязанности мои входит писать аннотации на книги по философии и психологии. Каждое утро мне на стол наваливают два десятка книг на всех языках (кроме венгерского и финского — для них имеются специальные референты), и я читаю, читаю. Сколько там интересного для меня, изголодавшегося по живому слову! Многие годы психология была фактически под запретом как наука буржуазная, и такие ее области, как социальная психология, национальная психология, бихевиоризм (теория поведения), экспериментальная психология, считались лженауками, выдумкой буржуазных идеологов и расистов, а книги по этим разделам знаний отправлялись в спецхран. Теперь их извлекали на свет божий, и я пишу на них аннотации, хотя потребителей этой литературы пока что мало.

И вот однажды меня вызывает Рудомино: пришел какой-то докторант по социальной психологии из закрытого института, и надо показать ему наши фонды. Я радостно бегу его встречать, показываю свои картотеки, увлеченно говорю о каждой книге в отдельности. Докторант молчит.

— Простите,— говорю я извиняющимся голосом,— может быть, все эти книги вам давно известны. К сожалению, это все, чем библиотека располагает.

— Нет,— говорит мне будущий доктор наук голосом, в котором не чувствуется смущения,— я не владею иностранными языками.

Я в недоумении.

— Как же вы будете работать над темой?

— Ну,— говорит он спокойно,— мне там все, что надо, переведут.

Как и начальники в лагере, он привык жить за счет чужого труда.

Постепенно жизнь налаживается, меня наконец реабилитируют. Те же люди, которые однажды дали моей диссертации положительную характеристику, а затем, когда меня арестовали, ту же самую диссертацию оценили отрицательно, ныне, в новых условиях, подтвердили свой первоначальный положительный отзыв, и мне возвращают степень. Судьба сводит меня с моей будущей женой. Отходит злость, и ко мне возвращается присущее мне от природы благодушие. Но я гоню его от себя прочь. Я не имею права так легко и просто забыть о доносчиках, о мучивших меня во время ночных допросов следователях, о лагерных надзирателях, о чиновниках, отказывавших мне после освобождения в работе. Кто из них хитрый мерзавец, использующий свое служебное положение в корыстных целях, а кто — оболваненный идиот, ломавший жизнь людям, но для себя не извлекавший из этого занятия большой пользы? Я еще не знаю, что и в моей последующей жизни подобным людям суждено будет сыграть немалую роль. Я не люблю, когда бывшие зека, из числа тех, кому не пришлось хлебнуть тяжкого лагерного труда, говорят, что в лагере было неплохо, они там читали, занимались языками и общались с себе подобными интеллектуалами. Это лишь свидетельствует об их душевной сухости и моральной ущербности. Мне повезло. Я вернулся из лагеря живым и сравнительно здоровым, но я не имею права забывать о тех, кому там сломали жизнь.

Может быть, поэтому я так часто возвращаюсь мыслью на станцию Ерцево, через которую шли поезда на Воркуту, в Инту и в другие лагеря дальнего Севера и вижу бесконечную череду товарных составов с мощными прожекторами на крышах и по бокам, которые несколько раз за ночь, грохоча и пылая, подобно огненному вихрю, проносятся мимо нашей станции, унося с собой тысячи человеческих жизней.

Оглавление

Об авторе. Вступительная статья <i>И. Борисовой</i>	3
Мой лагерь	7
Превращения	10
Семья	17
Художник	23
Игрок	27
Заочница	34
Хлебороб	41
Фришка	48
Старый интеллигент	54
Совратитель	59
Перпетуум-мобиле	64
Сталинист	69
Диалектик	74
Витек	80
Грузчики	85
Всюду любовь	91
Наука и жизнь	96
Чужак	101
Шутка	106
Моисей	111
Просветитель	116
Встреча	121
Свобода воли	130
Ян Рокотов	136
Беглецы	140
Профессионал	146
Колхозник	152
Лагерная Мессалина	159
Земеля	165
Противостояние	170
Это горькое слово «свобода»	180

Исаак Моисеевич Филыштинский
МЫ ШАГАЕМ ПОД КОНВОЕМ
Рассказы из лагерной жизни

Редактор Э. Кузьмина
Технический редактор А. Кокорин
Корректор С. Цыганова

Сдано в набор 10.06.93. Подписано в печать 10.01.94.
Формат 84х108/32. Бумага офсет 2. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Объем: 12,0 усл. печ. л. Тираж 1000 экз.
Зак. 1087

Московское историко-литературное общество
«Возвращение»
Россия, Москва, 103062
а/я 96

Отпечатано в московской типографии № 9
Комитета Российской Федерации по печати
109033, Москва, Волочаевская ул., д. 40